

Русская светская повесть первой половины XIX века // Советская Россия,
Москва, 1990
FB2: , 10 April 2010, version 1.0
UUID: A4A2F8D2-0136-4133-A8C3-85983CF1E0B1
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Надежда Андреевна Дурова

Угол

Н. А. Дурова
Угол

Вясный солнечный день первого мая тьма карет, колясок, ландо и кабриолетов быстро катилась к месту гулянья. Стекла опущены; в окнах экипажей видны прелестные лица дам, милостивых детей и то там, то сям важные физиономии военачальников, градоначальников и всех других начальников. Пешеходы идут густою толпою по тротуарам, толпятся и теснятся близ качелей, балаганов, подходят к экипажам, рассматривают красоту их, красоту упряжи, красоту лошадей; есть из них и такие, которые мыслят возвышеннее и смотрят только на красоту сидящих в экипажах.

Но вот мчится карета прекрасная и дорогая; все так отлично: лошади картинные, упряжь блестящая, кучер красавец, фореитор, как Купидон! Что же после этого должно быть внутри кареты? Уж, верно что-нибудь такое, для чего не подобрать ни сравнений, ни выражений.

Карета въехала в ряд; началось важное, плавное, церемонное гулянье, развлекаемое разного рода представлениями на площади. К окну прекрасной кареты то и дело подлетали

на бодрых конях ловкие, а иногда и лихие наездники с белыми перьями на шляпах; иногда подходил какой-нибудь пешеход в сюртуке, по сукну и покрою которого можно было узнать или, по крайности, заключить, сколько тысяч годового дохода укладывается в его карманы.

И кавалерия и инфантерия раскланивались очень учтиво с сидящими в карете, но легкая, чуть приметная усмешка, которою сопровождался поклон их, была как-то неуместна, судя по блистательной наружности экипажа тех особ, к которым относилась. Кто не видел бы кареты, а видел только поклон и усмешку, тот подумал бы, что особы, принимающие подобные знаки вежливости, едут на наемных дрожках. После этого простительно уже заглянуть в окно кареты и вместе послушать, что говорят эти шалуны, которые с полчаса уже как заставляют делать то курбеты, то лансады[1] своих английских кобылиц, почти вплоть у окна красивого экипажа.

— *Ecoutez George!*[2] Отъедем немного подалее.

— Зачем?

— Как зачем? Неужли же нам тут оставаться до конца гулянья?

— Почему ж нет? Разве не все равно, где ехать? И разве можно иметь лучшее место, как теперь наше?

— О, уж очень можно; у всякого свой вкус, посмотри на четвертую карету впереди нас, видишь ли, какой блестящий рой окружает ее; а кажется, внутри ее...

— Несметное богатство! — отозвался молодой гусар князь С***, и, дав шпоры арабскому жеребцу своему, вмиг присоединился к толпе кавалеристов, красующихся близ кареты с *несметным богатством*.

— Видишь, Жорж! отъедем же и мы; пожалуйста, отъедем, хоть для того, чтоб я мог говорить с тобою не вполголоса. Я хочу рассказать тебе кое-что о твоей очаровательной Уголино.[3]

— Стыдно тебе, Адольф!

— Pardon! Mille pardone, mon ami![4] Но, право, я предпочитаю назвать ее Уголинно, хоть это тебя и сердит, нежели истерзать слух и выломить язык, выговаривая: «Фетинья Федотовна».

— Что правда — то правда, Жорж; имя твоего кумира приводит в замешательство всякого порядочного человека; его нельзя выговорить, не покраснев до ушей и не сделавшись смешным самому себе.

— А фамилия! Верно, Мефистофель думал целые три дня, пока подобрал такое гармоническое соединение имени с фамилией: «Фетинья Федотовна Федулова, дочь Федота Федуловича Федулова!» Дивная поэзия!

— Однако ж это очень жаль, что такое милое существо так смешно называется.

Молодые люди, говоря это, отъехали довольно далеко от прекрасной и богатой кареты; один только Жорж не оставил своего места у окна ее, пока не завидел вдали великолепного ландо, едущего прямо к тому месту, где он был. Молодой человек заставил лошадь свою сделать два или три мастерских лансада, которые, дав ему возможность выказать ловкость свою и искусство, отдалили его на значительное пространство от кареты. В это самое время ландо поравнялось с нею. Пожилая дама величавого вида с досадою и пренебрежением отвернулась от прелестного ли-

чика, радостно и скоро выглянувшего из окна кареты.

— Счастье совсем неразборчиво! Справедливо изображают его слепым, — сказала компаньонка графини Тревильской в ответ на ее неприязненную пантомиму.

— Что вы называете счастьем?

— Счастьем называю я — осужденная положением моим на всегдашнюю зависимость — полную независимость, которую дать может одно только богатство.

— И наш образ мыслей, прибавьте; мы счастливы и несчастливы от способа, каким судим о вещах.

— Ах, графиня! Нет способа, который бы сделал горькое несчастье — счастьем! Смотрите на него, судите о нем как угодно, оно все будет не что иное, как злополучие!

Графиня имела столько ума, чтоб понять справедливость слов своей компаньонки и внутренне согласиться, что нет ничего легче, как философствовать и считать всякое несчастье сносным, сидя в покойной карете, имея в распоряжении своем пять или шесть тысяч душ, два огромных дома в столице со всеми

возможными выгодами и удобствами, тьму бриллиантов, двадцать ниток жемчуга, крупного и круглого, как горох, и, наконец, полмиллиона в ломбарде. Все это удивительно как помогает переносить всякое несчастье!.. Графиня, однако ж, не сказала ничего из того, что думала, она только спросила:

— Что ж вам дало повод к заключению, что счастье неразборчиво?

— А вот эта блестящая, дорогая карета, что сию минуту проехала мимо нас.

— Вы думаете, что особы, в ней сидящие, не стоят быть богатыми? — Ведь вы богатство считаете благополучием.

— Да, графиня, и я думаю, что счастье взыскало их без заслуг; думаю, что они ни почему не имеют на него права.

— Я не вашего мнения. Богатство, приобретенное трудом, хорошо веденным расчетом, неусыпностью, служит достойною наградою тому, кто умел нажить его; но употребление или, лучше сказать, злоупотребление богатством предосудительно и заставляет сожалеть, что случай так худо поместил его.

— То есть злоупотреблением богатством

хотите вы назвать лишнюю роскошь?

— Да! Неуместную, неприличную *им* роскошь.

— Я что-то худо понимаю вас, графиня. Какая ж роскошь неприлична *им*?

— Роскошь утонченная, роскошь высшего круга, изящная, которой они не могут ни понять, ни оценить и которой следуют как будто по инстинкту, наугад, но в душе она им совсем не нравится и очень не по вкусу.

— Извините, графиня; если я попрошу вас изъяснить мне эту разницу между роскошью утонченной и неутонченной, — имейте снисхождение к моему провинциализму.

— *Fi donc, ma chere!*[5] Что за выражение «провинциализм»! Пожалуйста, отвыкайте от него в обоих смыслах.

— Постараюсь, графиня. Но, сделайте милость, — о роскоши утонченной; что она такое?

— А вот что: замечаете ли вы какую разницу между каретами моею и Федуловой?

— Замечаю, графиня. Карета Федуловой лучше.

— Хорошо. Замечание ваше справедливо.

Теперь, каким кажется вам наряд ее и дочери? Вы, я думаю, успели рассмотреть его. Чем отличается он от наряда знатнейших дам наших?

— Самой Федуловой — ничем; убор ее одинаков с вашим, княгини Орделинской и многих других. Тоже бриллианты, бархат, блонды, все дорого, пышно, красиво, высокой работы и модного покроя. Но дочь ее отличается от всех, и если сказать правду — очень выгодно для себя: она одета с какою-то пленительною простотою, что делает ее восхитительно прекрасною.

— Вот это-то все и называется роскошью утонченною. Например, фасон и отделка кареты, стати лошадей, высокая работа упряжи есть роскошь утонченная, на которую разбогатевший крестьянин Федулов не имеет права и которая ему совсем нейдет.

— Боюсь показаться вам бестолковою, графиня! Но, из милости, позвольте сделать вам еще вопрос: почему нейдет Федулову сидеть в щегольской карете и почему он не имеет на это права, когда он теперь купец первой гильдии и вместе именитый гражданин?

— Вы в самом деле, милая, немного беспонятны; однако ж нечего делать с вами, буду рассказывать по пальцам. Именитый гражданин Федулов и семья его имеют полное право ехать в карете; но недавний мужик Федулов не должен бы, кажется, предпочитать изящное, высокое — прочному и полезному, по крайности, так говорит здравый смысл. Я не знаю, как он сам чувствует себя в этой карете, но уверена, что толстая Федулова каждую минуту вздрагивает, чтоб ее легкий, красивый экипаж не опрокинулся от собственной ее тяжести; чтоб эти воздушные, статные кони не взвились с нею под облака; и верно, ей до смерти неловко, что она своего наряда не слышит на себе; ей кажется, что она раздета, что на ней вовсе ничего нет. Она даже худо знает название всего того, что носит, но тем не менее бросает десятки тысяч, чтоб иметь все самого лучшего фасона и достоинства: наряд ее, в высокой степени изящный, делает ее смешною (потому что в ней самой ничто ему не отвечает) и служит доказательством дурного употребления богатства, хорошо приобретенного. Эта девочка, эта ничтожная Фети-

нья Федотовна, которой своенравная природа дала род красоты совсем ей неприличный и вовсе бесполезный, эта девочка, говорю, не должна бы так одеваться; такая прелестная простота показывает тонкий вкус и принадлежит одному только высшему сословию... Смешна была эта выходка природы! Девчонка Федулова получила в удел красоту, приличную одним только владетельным княжнам!.. В ней есть что-то благородное, гордое, величавое и вместе милое до очарования... Это нестерпимо! К тому же эта хитрая постигла, что столько совершенств не надобно портить лишним нарядом, и вот она одета так, что даже женщины находят ее прекрасною! Но всего хуже и всего досаднее для меня, что она и не думает стыдиться смешного имени — Фетиньи Федотовны.

— Другие за нее стыдятся.

— О, если б так было! Авось тогда и мой...

Графиня, завлеченная досадою за пределы осторожности, вдруг спохватилась и замолчала. Простодушная компаньонка этого не заметила; но, не желая, чтоб разговор, столько ее интересующий, прекратился, спросила опять:

— Отчего ж, графиня, вам досадно, что девица Федулова не стыдится своего имени?

— Оттого, — отвечала графиня, снова уступая чувству, не дающему ей времени обдумывать слова свои, — оттого, что это показывает силу ума, а есть ли что в свете могущественнее, как ум и красота вместе? Царства трясутся в основании своем от соединения этих двух необоримых сил.

— Мне кажется, графиня, что вы слишком уж резко изображаете два драгоценнейшие дара природы; вы говорите об них, как будто о какой-нибудь всеразрушающей буре!

Графиня молчала. Взор ее беспокойно переносился чрез всю линию экипажей, медленно движущийся один за другим. Подождав с минуту, компаньонка, хорошо знавшая слабость графини, в избытке чувств высказывать все, что их тревожит, начала говорить:

— Впрочем, если вникнуть хорошенько, то описание ваше верно. Точно ум и красота, когда они вместе, побеждают, созидают и разрушают все, смотря по тому, чрез кого, на кого и в каких обстоятельствах действуют. Но я только не могу понять, графиня, что вам до

того, хороша или дурна, умна или глупа Федулова; мне кажется, для вас это должно быть все равно.

Ответ на этот вопрос был довольно затруднителен, и лучше всего было бы не отвечать на него, но графиня имела несчастную и вместе смешную слабость непременно отвечать на всякий вопрос, и исключительно на такой, который ставит ее в затруднительное состояние открыть то, что непременно должно было б быть скрыто. Графиня отвечала:

— Что мне до того, говорите вы? О, очень много, моя милая, очень много! Я все теряю: мои планы, замыслы, надежды могут разрушиться невозвратно именно от того, что свое-нравная судьба дала Фетинье ум и красоту вместе.

Компаньонка открыла большие глаза. Но графине трудно уже было остановиться, да и поздно; она столько сказала, что надобно было продолжать, что она и сделала.

— Да, милая! Неуместное соединение ума и красоты в молоденькой мещанке Федуловой будут причиною, что лестнейшие надежды мои не сбудутся!.. Посмотри, где карета Фе-

дуловых?

— Вон в том ряду, графиня, наискось против нашей. В самом деле, как хороша молодая Федулова!

— Кто из наших молодых людей едет близ ее кареты?

— Много, графиня! Я не всех знаю: но вот из знакомых: два брата Лелевых; конногвардеец Рагоцкий; лейб-гусары: Верхоглядов, Мазовецкий, Сербицкий и Урбанович. Все они то подъезжают к окну кареты, то опять отъезжают и, как будто показывая пред красавицей Фетиньей удалство коней своих, беспрестанно делают скачки и курбеты; один только граф Жорж едет шагом и вплоть у окна...

Компаньонка вдруг замолчала: новая мысль озарила ум ее.

— Так неужели, графиня, думаете вы!.. — воскликнула она и опять замолчала, как будто не смея кончить своего вопроса. Графиня горько сожалела, что навела ее на эту догадку. Восклицание компаньонки показывало, что она только сию минуту поняла причину нерасположения графини к Федуловым.

Вся гуляющая процессия остановилась на несколько минут, потому что переднему экипажу встретилось какое-то затруднение. Остановкою этою спешили пользоваться многие, в том числе важный и сановитый купец Федулов, так скоро, как позволила ему толщина его, выставляется в окно кареты, чтобы позвать лакея, и вот дверца блестящего экипажа отворилась, тучный Федулов, с окладистой бородою, в сюртуке самого дорогого сукна, в бобровой шляпе, вышел из кареты.

— Прощай, Матрена Филипповна, воротись, пожалуйста, к чаю домой. Прощай, Фетиньюшка. — Купец хотел уж идти, но в эту минуту увидел графа Тревильского, который, чтоб оставаться близ кареты Федуловых под благовидным предлогом, заставлял свою лошадь то прыгать, то становится на дыбы. Покачав неодобрительно головою, купец, казалось, был в раздумье, не сесть ли опять в карету; с полминуты стоял он в нерешимости на одном месте, однако ж благоразумие взяло верх, и Федулов удовольствовался только повторить жене своей просьбу воротиться к чаю домой. После этого он уж, не раздумывая

и не разглядывая прыжков графского коня, стал пробираться чрез площадь на тротуар.

Однако ж маневр графа не спас его от разлуки с прекрасной Фетиньей.

Графиня, тоже очень обрадованная этой остановкой, тотчас воспользовалась ею и приказала человеку позвать к ней сына.

— Милый Жорж! Поезжай, пожалуйста, к княгине Орделинской, вон ее карета в том ряду; скажи от меня, что я очень интересуюсь знать, какие вести получила она из Мадрида.

Когда граф оборачивал уже лошадь, чтоб ехать, куда его посылали, графиня прибавила:

— Ответ ее перескажешь мне после, а теперь, сделай мне удовольствие, останься близ нее до конца гулянья.

Графиня говорила все это тоном столь ласковым и кротким, что компаньонка, не видевшая лица ее, закрытого широкими полями шляпки, никак не подозревала, чтоб слова и голос Тревильской был в величайшей противоположности с выражением глаз ее и физиономии; в том и другом молодой граф видел угрозу и упрек.

Хотя приказание матери было как нельзя

более неприятно юному Тревильскому, однако ж он исполнил его ловко, непринужденно и, по наружности, охотно. Искренность заменилась вежливостью, и престарелая Орделинская приняла за чувство сердца те выражения, какими учтивый граф передал ей желание матери своей узнать о том, что пишут княгине из Мадрида.

— Много радостного, любезный граф! Я надеюсь, что скоро все мы будем очень счастливы. Невестка моя возвращается сюда. Она пишет, что Целестина совершенно выздоровела и очень поправилась: выросла, пополнела, похорошела, стала бела, румяна, как кровь с молоком! О, путешествие — спасительное средство для больных и приносит великую пользу!

Старая дама была чрезвычайно довольна, что молодой человек не отъезжал от окна ее кареты и постоянно поддерживал любимый разговор княгини о выздоровлении и возвращении внуки ее, малютки Целестины, которой, мимоходом сказать, минуло уже двадцать три года и которой красота приводила в восторг одного только турецкого посланни-

ка, и то тогда, когда Целестина сидела, но если вставала или ходила, Ибрагим восклицал с прискорбием — разумеется, мысленно: «О, аллах! За что мудрость твоя наслала такое поношение на красоту этой прелестной, полной луны!»

Княжна Целестина Орделинская, малютка, по словам ее бабки, и полная луна, по мнению паши Ибрагима, была, в глазах всей остальной массы людей, дева гораздо более нежели полная, с красивым ростом флангового гвардейца. Эту Пелегрину, в своем роде, желала приобрести графиня Тревильская для своего сына, единственного ее наследника, графа Георга Тревильского.

Князь Орделинский, отец Целестины, давно уже находился при испанском дворе в качестве посланника; но княгине почему-то не нравилось жить в Мадриде, и она, верно, не вздумала бы ехать туда, если б мать князя не потребовала настоятельно от своей невестки, чтобы она отправилась сперва путешествовать, а после присоединилась к мужу.

— Давно бы тебе, мать моя, — говорила недовольная свекровь, — давно бы надобно

подумать об этом! Посмотри на Целестиночку, на что она похожа! Настоящий заморыш, совсем испитая, ни цвету, ни роста, ни полноты! Поезжай, пусть ее подышит воздухом чужих земель, авось расцветет.

Разговор этот был за три года до того гулянья, о котором теперь идет речь. Целестине было тогда девятнадцать лет и она точно была сухощава, тонка и не слишком высока; и хотя не похожа была на испитую, как называла ее бабка, однакож по виду в самом деле казалась больною: цвет лица ее редко когда оживлялся; во всех движениях заметно было какое-то бессилие, изнеможение и лень, как то бывает у людей, непомерно растущих; но как тогда не предвиделось еще гигантского роста для Целестины, а просто приписывали ее вялость, леность, слабость, неповоротливость болезненному телосложению, то бабка, любившая ее до чрезвычайности, встревожилась и, полагая, что одна только перемена климата и движение могут укрепить силы захиревшей внуки ее, употребила столько убеждений, просьб, упреков, угроз, ворчанья, что княгиня, невестка ее, готова была уехать

от них в Камчатку, не только в теплые и прекрасные стороны юга.

Три года прошли, и старая Орделинская с торжеством рассказывала всем, кто хотел и кто не хотел слышать, то же самое, что рассказывала молодому Тревильскому, то есть что ее Целестиночка сделалась как кровь с молоком, выросла, пополнила, похорошела и что скоро возвратится радовать всеми этими совершенствами ее, свою бабуку. Впрочем, как это радостное известие пришло накануне гулянья вечером, то и неудивительно, что она не успела сообщить его той, которую оно более всех должно было интересовать, — графине Тревильской.

Задолго еще до отъезда княжны Орделинской в чужие края положено было между семействами Орделинских и Тревильских выдать Целестину за Георга и чрез то соединить имущества обеих фамилий.

Молодой Тревильский, не находя, что сказать против выбора, сделанного его матерью, не противился этому распоряжению и очень покойно готовился сделаться мужем Целестины. По этому ходу вещей и безусловному по-

виновению графа предполагаемый союз давно бы состоялся, если б малютка Целестиночка не стала хиреть от часу более, может быть, от тех усилий, которые делала натура вытянуть ее трехаршинный рост, а может быть, и от беспрестанной неги, пестованья, шнурованья, танцеванья и двадцати других причин, мелочных, неприметных, но тем не менее успешно разрушающих здоровье.

В три года, проведенные в чужих краях, княгиня Орделинская-мать с испугом увидела, какую великую, неожиданную, а всего более нежеланную перемену произвело путешествие в ее дочери: рост княжны сделался просто страшен; ее можно было б показывать как чудо; полноту же ее без церемонии позволялось бы назвать толстотою, если б она не скрадывалась несколько ее огромным ростом, при нем только она казалась сносною, но не более, однако ж, как сносною. Лицо молодой девицы, прежде бледное, желтоватое, худое, но со всем тем довольно приятное, теперь сделалось кругло как месяц, бело как молоко, гладко как мрамор, цвело самым смелым здоровьем, кожа на нем светилась как под лаком

и ко всему этому во всех чертах ни искры чувства, ни тени ума! Это была колоссальная статуя, прекрасно отработанная; большие голубые глаза, красиво оправленные, не выражали никакой мысли; казалось, что это фарфор разрисованный; уста ее, румяные и хорошей формы, улыбались всегда очень бессмысленно, и, сверх того, улыбка эта придавала еще какую-то противность лицу ее, и это было единственное изменение, какое делалось в ее совершенно неподвижной физиономии.

Молодой Тревильский хотя и не знал еще ничего о том богатом приращении в вышину и ширину, какое получила его нареченная невеста, малютка Целестиночка, от благословенного климата теплых стран, начал, однако ж, почему-то чувствовать смертельное нехотение сделаться ее мужем. Не раз уже приходило ему на мысль, что он слишком скоро и безусловно покорился воле матери в важнейшем случае своей жизни. Его видимо беспокоил и приводил в замешательство всякий разговор о княжне Орделинской, ее скором возвращении, свадебных приготовлениях и бесчисленных планах в отношении к их общей

будущности, обо всем этом графиня толковала с наслаждением, часа по два сряду, не замечая, что сын ее в это время отирал холодный пот с лица и мысленно призывал на помощь все препятствия и затруднения, какие только существуют в мире, чтоб расстроить союз, который он начал считать гробом своего счастья. Судя по этим чувствам, можно угадать, чего стоило графу исполнить приказание своей матери оставаться близ княгини Орделипской до самого конца гулянья и слушать, улыбаясь радостно, нескончаемый разговор о малютке Целестиночке.

Но вот наступила пора разъезжаться. Экипажи пустились в разные стороны, карет от часу становилось менее, и, наконец, молодой граф вздохнул свободнее, услышав, что старая Орделинская, пожелав ему доброго вечера, приказала кучеру ехать домой.

Как птица, вырвавшаяся на волю, полетел Тревильский мимо остающихся еще экипажей в надежде увидеть в ряду их карету Федуловой; но как лучший тон оставил уже место гулянья, то что ж могло удержать там Федулову? Что она будет делать между теми, кото-

рым гулянье в такую диковину, что они как можно позже с ним расстаются? Нет, наперекор всему Федулова постоянно копирует поступки людей высшего тона; она приезжает и уезжает в условное время, никогда, ни одною минутою не продолжит своего визита долее, нежели позволяет приличие; одета всегда богато, со вкусом, с изяществом даже; она дорого платит, чтоб быть так одетой, потому что у нее самой вкус только ее природный, и если б она последовала ему, то вместо эфирных газов, тонких, как паутина, кружев прелестных цветов она охотно бы надела парчу, которую нельзя согнуть, как будто она выкована, а не соткана; на шею повязала б сорок ниток жемчуга; на голову платок, такой, от которого блистало б, как от солнца, и, облеченная во всю эту лепоту, любовалась бы ею пред старинным туалетом столько же, сколько и своею роскошною толщиною, которую теперь она, скрепя сердце, без милосердия стягивает шнуровкою.

Итак, кареты Федуловых нет... Граф теперь только способен видеть вещи как они есть и, чувствуя, что смешно оставаться среди толпы

людей, с которыми он не имеет ничего общего, притрогивается легонько шпорою к крутому боку своего арабского коня и улетает, несясь галопом стройным, ровным, быстрым.

— Маменька! Что такое угол?

Ничто не могло быть в такой ужасной противоположности с мыслями, которым предавалась теперь Матрена Филипповна Федулова, как вопрос ее дочери, прелестной Фетиньи Федотовны. Купчиха вздрогнула, хотела перекреститься, но — это не в моде! Хотела сказать: с нами сила крестная! Но это выражение тоже не в моде; хотела по крайности назвать дочь дурою, но ведь и это не в моде!.. Что тут делать? То не в моде, другое не в моде!.. Высший тон не крестится в изъявлении того, что удивляется чему-нибудь; не призывает святых на защиту от глупцов и не бранит людей, сказавших без намерения что-нибудь для него неудобное, — высший тон благочестив истинно и благоразумен во всех случаях жизни. Федулова не понимает: что, как, почему и отчего делается у них так, а не иначе, но копирует верно.

— Какой угол, милая? Что ты говоришь? Где видишь его?

— Да вот, маменька, вот сейчас проезжаем мимо; видите, на окне бумажка с той стороны стекла приложена? Теперь худо видно, а как мы ехали на гулянье, то я хорошо рассмотрела и прочитала слово «угол», написанное на этой бумажке. Что это значит, маменька? Я почти все гулянье думала об этом слове.

— Надобно, чтоб голова твоя была очень пуста, милая Фетинья, когда целое гулянье думала об одном слове, написанном на лоскутке бумаги, приклеенном за окном! Это не стоило минуты размышления; и как можно обращать внимание на какой-нибудь уличный вздор! Не люблю я этого, Фетинья! И прошу тебя, если не можешь мыслить о чем-нибудь лучшем, то хоть не говори мне о тех пустяках, который лезут тебе в голову!.. Угол! Г-м! И это сказала мне дочь моя?

Федулова с досадою отвернулась и стала смотреть в окно кареты, противоположное тому, близ которого сидела пленительная Фетинья. Так доехали они домой. Федулов ждал уже их, чтоб вместе пить чай. Заметя унылый

вид дочери, он стал было спрашивать, отчего она так невесела, но Матрена Филипповна упредила ответом, что у Фетиньюшки разболелась голова: «Она сегодня слишком рано встала; ей надобно успокоиться; поди, милая, в свою комнату, я пришлю тебе туда чаю, выпей чашечки две погорячее и ляг спать. Прости, дитя мое, ступай с богом». Говоря это, Федулова шла с дочерью до дверей залы и, кликнув девку, велела проводить ее в спальню, а самой тотчас прийти за чаем.

Управясь с этим делом, тучная Федулова роскошно уселась на пышном диване, подвинула к себе поднос, положила в чайник чаю, совсем седого, и, подставив его под кран серебряного самовара, стала методически наливать, переставать, опять доливать и наконец поставила его на конфорку.

Настал антракт. Время, в которое чай на конфорке получает приличную крепость, посвящается обыкновенно кой-какому мелочному разговору; Федулова начала:

— Заметил ли ты, Федот Федулович, сколько знатных молодых господ ехало близ окна кареты нашей? И как все вежливы; сколько

ловкости! Какие молодцы собою! А граф Георг Тревильский? Он остался бы при мне до конца гулянья, если бы эта старая Орделинская не подозвала его к себе.

— Остался бы при тебе, говоришь ты, Матрена Филипповна! Вот чему я никак уже не верю, хотя и желал бы, чтобы он точно ехал при тебе только.

— Это что еще за загадки такие? Нельзя ли говорить по-людски.

— Изволь, очень можно: Тревильский ехал подле твоей кареты совсем не для того, чтоб быть при тебе — ты была не одна, и так гораздо правдоподобнее заключать, что его привлекало то, что молодо и красиво, нежели... однако ж мы заговорились, не пора ли снять чайник с конфорки?

Федулова сняла чайник и, отлив из него до половины, долила опять и тогда уже, дополнив чашки, снова поставила его на конфорку и подала мужу чашку. Вся эта церемония не помешала ей продолжать начатый разговор. Прихлебнув из чашки, она поставила ее перед собой на поднос и, облокотись на подушку дивана, стала опять говорить:

— Какой ты нынче сделался хлопотун, Федот Федулович! Нельзя уж и в одном слове ошибиться, ну что за беда, что сказала «при мне», пусть будет: при тебе, при карете, при окне кареты; не все ли равно? Довольно, что ехал с нами, пока ему было можно. — Федулова взяла свою чашку. — Кушай же чай, об чем ты думаешь? Ведь простынет.

— Я думаю, почему ты не хочешь сказать, что граф ехал с той стороны кареты, где сидела наша дочь? Это было бы всего справедливее.

— Я думала, что нет надобности говорить о том, что нам с тобою так хорошо известно. Для кого ж, как не для Фетиньюшки, граф Георг так учтив с нами, так ласков, почтителен, так ухаживает, прислуживает мне при каждом случае? Разумеется, что все это делается для нее.

— Лучше было бы, если б все это делалось для тебя; я был бы покойнее и, право, первый смеялся бы этому, да и ты тогда была б уже в точности похожа на знатную и модную даму.

— С тобой сегодня мудрено говорить; господь помилуй тебя! Что за слова: он смеялся

бы, если б за мною гонялся всюду молодой, красивый офицер... Граф!.. Безбожник ты, Федот Федулович!

— Полно, Матрена! Мы из пустого в порожнее переливаем, а к делу не подвигаемся ни на шаг. Налей-ка мне еще чашечку. Есть вода в самоваре?

— Есть немного; прикажешь подбавить?

— Нет, довольно будет: сегодня мы званы на именинный вечер к Викулу Терентьевичу.

Супруги выпили еще по чашке, молча; но жене Федулова очень хотелось говорить и как будто допытаться чего-то. Она опять начала:

— Ну, а я все-таки спрошу тебя, Федот Федулович, уж мне это любопытно стало: почему тебе приятнее было бы видеть графа Георга угождателем моим, нежели дочери нашей? Скажи, пожалуйста.

— Потому, друг мой, что волокитство за тобою было бы просто глупость молодого человека, которая возбуждала бы один только смех и не давала б никакого повода к злоречию; потому что в нашем быту и с нашим воспитанием жены купеческие и во сне боятся увидеть изменить мужу; и так дурачество

Треви́льского смешило б только всех, но не имело никакого худого последствия ни для кого, тогда как постоянное ухаживание его за Фетиньей дело совсем другого рода: дочь наша молода, красавица, по твоему настоянию дано ей прекрасное воспитание, а велением судьбы имеет она отцом — бывшего крестьянина Федулова, а матерью — отпущенницу Матрену Вертлякову. Первые обстоятельства влекут к ней сердце молодого графа; последние лишают его возможности согласить это чувство с честью и своими обязанностями.

— Хоть бы слово поняла!.. Скажи просто.

— Графу нельзя быть любовником нашей дочери, ему надобно жениться на ней, иначе она не может достаться ему; но на эту женитьбу никогда не согласится мать его, которая высокое происхождение считает дороже богатства, хотя б это богатство было в десять раз более моего. И так пойми все это, моя добрая жена, и устрой так, чтоб Треви́льский не появлялся у нас ни под каким предлогом, тоже и в обществах постарайся устранять его от Фетиньи.

— Ну, теперь-таки понимаю: ты боишься,

что будут дурно говорить о Фетиньюшке? А что скажешь, если граф посватается за нее?

— Ничего не скажу, потому что этого никогда не будет. Не посватается Тревильский за нашу дочь, могу тебя в этом уверить.

— Женится, хотела я сказать, посвататься нельзя, он не смеет жениться на Фетиньюшке. Что тогда?

— Что тогда, Матрена? — сказал купец, вставая. — Тогда вот тебе мое честное купеческое слово и вот свидетель Спас Нерукотворенный, что я прогоню тебя и на дорогу больно побью — в первый раз в жизни побью и, разумеется, в последний, потому что во всю остальную жизнь нашу мы уже никогда с тобою не сойдемся. Теперь подумай же об этом обещании и постарайся, чтоб Тревильский не женился на нашей дочери!..

Федулов допил двадцатую чашку чаю и ушел в контору отдохнуть до того времени, как надобно будет ехать на званый вечер к Викулу Терентьевичу.

Слово «побью» было так несообразно, в такой противоположности с местом, видом и

обстоятельствами, при которых было сказано, что посторонний свидетель, если б он мог тут случиться, расхохотался б от души. Прекрасная, богато убранная комната, накуренная благовониями, вазы с цветами, атласный диван, на нем, небрежно облокотясь, сидит женщина в прелестном роскошном пеньюаре, волосы ее по-домашнему подобраны и приколоты просто на голове бриллиантовым гребнем, и этой-то женщине, так величаво сидящей на ее диване, окруженной стольким богатством, такую изящною роскошью, говорят, что ее побьют. Нельзя опомниться после этого. И точно Федулова долго сидела в раздумье; чашка чая осталась недопитою, правда, что, вопреки тону высшего круга, она была пятнадцатая, но все-таки Матрена Филипповна не допила ее, потому что была ужасно ошеломлена словом, до сего времени никогда ею не слышанным от своего сожителя.

«Осердился же он!.. Вот несчастный день выбрался! Давеча должна была слышать о проклятом угле, сердце у меня так и замерло от этого слова; а теперь тоже не легче: „побью“! Вот что повернулся язык его выгово-

ритель! Ну, пусть бы уж „прогоню“! Это еще не так прискорбно; это водится у знатных. Прогоню, значит, разойдусь с тобою! А то: „побью“! Точно простой мужик говорит работнице, безбожник, безбожник!..» Матрена Филипповна отерла слезы и пошла одеваться на званый вечер, она уселась против своего дорогого туалета, и несмотря на то, что слово угол заставляло ее вздыхать, а от другого слова: побью — щемило ее сердце, она оделась блистательно и по последней моде.

Через два часа Федуловы отправились в гости, и через четверть часа по их отъезде резвая Маша, горничная девка Фетиньи, с хохотом рассказывала в девичьей, что хозяйская дочь расспрашивала ее, что такое значит «угол».

— Уж не слыхала ль она чего, моя голубушка! — сказала заботливо старая ключница Акулина. — Ты смотри, Маша, не провришь, сохрани бог, сама узнает, так святых вон понеси, а уж тебе беда бедой!

— Вот, нужда мне говорить ей! Небось услышит не от меня: ведь все знают, что шла в мешке не утаишь.

— Ну как же она начала, бедненькая? Видно, сердце-то слышит, что угол близок ей!

— Вот, видишь, Акулинушка: как вышли они из кареты, я заметила, что сама-то была что-то пасмурна, а Фетиньюшка как будто оробела и шла за нею потупя глазки. Не знаю, что они там говорили в зале, только хозяйка скоро выпроводила дочь в спальню и осталась одна с хозяином пить чай, а мне приказала отнести к Фетиньюшке другой прибор чайный; вот я и отнесла; прихожу, а она сидит подгорюнившись. Я говорю: «Вот, сударыня, матушка прислала вам чаю; прикажете налить?» Молчит. Я поставила перед нею поднос: «Угодно самим наливать?» Молчит. Я уже хотела идти вон, думала, что на нее нашло что-нибудь, — вдруг она очнулась. «Ах! Это ты, Маша! Что, раздеваться пора?» — «Вот как вы задумались, сударыня! Об чем бы это так? Кого видели вы сегодня на гулянье?» Она покраснела, как и всегда при этом вопросе; я притворилась, будто бы не вижу этого, и стала расспрашивать обо всем, что там было хорошего. Ведь ты знаешь, Акулинушка, хозяйская дочь не то, что сама хозяйка, та ведет се-

бя очень великато, так что иногда уж и смех возьмет, а особенно как вспомнишь угол.

— Да полно болтать-то, говори дело, Маша! Ведь ты хотела рассказать, как у вас зашло об нем.

— Дай же мне дойти до всего по порядку; Фетиньюшка рассказывала мне, что на гулянье много было знатных господ в каретах; красивых молодцов верхами; много всякого народу толпами; но я заметила, что она рассказывала мне все это так, из доброты, а сама нисколько не занималась тем, что видела, и все как будто задумывалась.

— Да что с вами сегодня, Фетинья Федотовна? Вы грустны... Граф Тревильский был на гулянье?

— Полно, Маша, я не люблю этого; к чему ты спрашиваешь всякий раз о Тревильском? Был не был, что мне до этого!

— Ну, ну, бог с ним! Пусть нам до него дела нет. Скажите ж, отчего вы так задумались?

— Послушай, Маша, полно тебе говорить вздор; скажи вот лучше, что такое значит угол? Это слово я видела написанное на лоскутке бумаги, прилепленном к стеклу окна

изнутри горницы, так чтоб проходящие могли прочесть его.

Я захохотала.

— Ах, господи твоя воля! Так неужели вы об этом задумались? Есть об чем! Угол! Что значит? Да я думаю, то и значит, что есть — угол и более ничего.

— Но к чему ж писать это слово на бумаге и приклеивать к окну напоказ?

— А, так вы не знаете, для чего это делается? Отдается внаймы угол комнаты.

— Как, угол комнаты внаймы? Этого я не понимаю.

— Его нанимают точно так же, как и всю комнату; как целый дом, нанимают для того, чтоб жить в нем.

— В угле жить! В одном угле! Неужели это правда, Маша?.. Ты совсем некстати шутишь.

— Божусь вам, что не шучу; в углах живут точно так же, как и в целых домах: так же ложатся спать, так же встают, обедают, ужинают, работают, смеются, плачут, молятся, бранятся; ну, одним словом, вся жизнь точь-в-точь идет так же, как и во всех домах, замках и — дворцах, пожалуй, все одно и то же.

— Маша! — и Фетинья обняла свою красно-речивую горничную. — Как бы мне увидеть угол и войти туда!.. Для меня это такая дивная вещь!.. Пожалуйста, Машенька, придумай, нельзя ли как-нибудь это сделать, чтоб я взглянула на чудо собственными глазами, чтоб я уверилась, что точно люди живут в этих углах, и живут, как живем мы!

Ветреную горничную очень забавляло желание Фетиньи, и она охотно доставила бы ей возможность побывать в угле, то есть посмотреть его, если б это не было сопряжено с большими затруднениями. Фетинья выезжала только с матерью или с надзирательницей, которую Федулова важно величала гувернанткой; однако ж просьбы хозяйской дочери и собственная охота пуститься на шалость заставили Машу работать умом, и наконец она выдумала средство, по ее мнению очень успешное и нисколько не опасное.

— Знаете ль, Фетинья Федотовна, как можем мы с вами побывать в одном из этих углов, что отдаются внаймы? Я выдумала.

— Скажи, Маша, скажи! Ах, как я буду рада! Ну, как же?

— Завтра отпустите вы меня в публичный сад гулять и попроситесь сами покататься за городом или тоже в который-нибудь из садов, где обыкновенно гуляют господа, но приезжайте в этот, куда отпустили меня. Надзирательница ничего не скажет, я уже знаю, что она любит этот сад более других. Вы поедете туда в два часа, в самый жар, тени тут мало, да хотя б и была, не замечайте ее, а пройдите широкую аллею три раза во всю ее длину, этого за глаза довольно, чтоб толстой госпоже Зильбер задохнуться насмерть; тогда вы попросите ее отдохнуть в тени под колоннами и прикажете, чтоб ей подали мороженого, лимонаду, бисквитов, апельсинов; она придет в восторг от всего этого и будет только заботиться о том, что вам неприлично сидеть под этими колоннами во все то время, пока она будет поглощать такие изыщества; тогда я подойду к вам как будто невзначай и вы скажете ей, что пройдется со мною два раза еще по широкой аллее и после дождетесь ее на лавочке у пруда. Я знаю, что при этом предложении она и лапки сложит от удовольствия; мы пойдем и при повороте аллеи будем уже

на свободе: тут два шага до ворот сада, а от них через улицу только дом и в нижнем этаже его, на одном из окон, приклеен лоскуток бумажки, на котором написано крупными слогами: «угол». Мы будем там менее нежели в минуту да десять минут можем употребить на то, чтоб его рассматривать и, если угодно, нанимать, для того чтоб хозяйка думала, что мы за этим только и пришли.

Фетинья не спала ночь от удовольствия. «Угол! — думала она. — Какая это диковинка!.. Не комната! Не целая комната, а один только угол, и в нем живут! В нем можно жить! Целую жизнь, со всеми ее изменениями, проводить в одном только углу!.. Завтра увижу эту необычайность собственными глазами; дай бог, чтобы ничто не помешало. Беда как пойдет дождь или приедут гости!»

Перед рассветом Фетинья заснула и видела во сне «угол», раззолоченный, увешанный цветочными гирляндами и убранный серебряным газом. Она проснулась в восторге и не знала, как дожидаться того часа, в который обыкновенно ездила гулять.

Со вчерашнего дня Федулов непокоен духом; на вечере у своего товарища по торговле он не был так весел, как обыкновенно, и даже при самом жарком разговоре о выгодах такого или другого торгового оборота он часто отвечал невпопад оттого, что совсем не слушал, что говорили: вчерашний его поступок с женою тяготил его совесть.

«Никак черт мне подсказывал весь этот вздор, — думал он, — к чему обидел я свою бедную бабу, назвавши ее отпущенницей? Ведь это мать ее была крепостная, ей же что до этого!.. Эх, Федулов! Глупо ты сделал, вот теперь и придется покориться; не могу видеть, что она как будто грустит: пойду мириться». Федулов, кончив беседу с самим собою, бросил счета и выкладки, над которыми без пользы просидел часа два, и пошел к жене.

— Здравствуй, Матреша! Ты дома? А я видел, что поехала со двора наша карета, и думал, что это ты отправилась в магазины; видно, Фетиньюшка поехала гулять? Да?

— Да.

На этот лаконический ответ Федулов отве-

чал тем, что сел подле опечаленной жены, обнял ее одною рукою и, приклони голову к плечу ее, стал говорить вполголоса:

— Ты все еще сердишься, жена? Полно, милушка! Прости! Я был дурак, что наговорил тебе дерзких слов, и еще более дурак, что смел давать честное купеческое слово в таком деле, к которому никогда бы не имел сил приступить. Забудь, пожалуйста, все это, я виноват, очень виноват и прошу у тебя прощение от чистого сердца...

По мере как муж говорил, Федулова поворачивала понемногу лицо свое к нему, и крупные слезы с каждой секундою более скоплялись в глазах ее, и при последних словах: «Ну, прости ж меня, Матрешенька, друг мой, мир!» — сказанных Федуловым чуть не со слезами, она зарыдала и упала на грудь мужа, не имея сил сказать ни одного слова.

С четверть часа Федулов безмолвно прижимал к груди своей плачущую жену и был растроган до того, что с трудом удерживался от слез; наконец сильное волнение духа обоих утихло. Федулов поцеловал жену свою и еще раз просил ее забыть его грубость.

— Милая моя жена, — сказал он, — я человек, немудрено, что иногда погорячусь безрассудно, наболтаю вздору, но никогда ничего не сделаю противного священной клятве, которую дал тебе в страшную минуту... — Пораженный воспоминанием, Федулов со слезами и стоном целовал колени ей. — Как мог я, безумец, забыть хоть на секунду, что ты для меня сделала!.. Жена моя! друг мой! Прости же меня! ради бога, прости!

— Да полно же, сделай милость! Вот заплакался! А еще мужчина! Все это уже так давно было, да и что мудреного было в моем поступке? Всякая на моем месте сделала бы то же, ведь ты мне приглянулся тогда... ну, полно ж, пожалуйста, успокойся. Вот лучше скажи мне... ведь мы уж помирились, так можно говорить об этом деле без досады, — скажи мне, почему не хочешь ты, чтоб наша Фетиньюшка была графинею Тревильскою?

Вопрос этот был наилучшим успокаивающим лекарством взволнованным чувствам Федулова и тотчас возвратил ему силу ума и твердость воли.

— Для того, мой друг, — отвечал он уже

спокойным голосом, — для того, что она не может быть ею с согласия его матери.

— Но он совершеннолетний, может жениться без согласия.

— Если он это сделает, прочный ли он будет муж для нашей дочери?! Не уваживший мать свою будет ли любить жену! И благословляет ли бог когда-нибудь детей непочтительных? Будет ли Фетинья за ним счастлива?

Матрёна нахмурилась; в последних словах ее мужа было нечто такое, чего она не могла покойно слушать. Однако ж как ей очень хотелось поставить на своем, то она продолжала:

— К чему предвидеть тотчас худое? Не мы первые, не мы последние: бывали примеры, что знатные господа женились на купеческих, а еще более примеров было, что женились против воли своих родителей, и всегда оканчивалось хорошо: посердят, посердят да и простят!

— Но Тревильская, если верить слухам, не из числа тех, которые прощают, — она не простит.

Скучно и долго было бы описывать дальнейшие суждения и споры супругов о деле, которое его жена хотела совершить, что бы то ни стоило. Довольно знать, что продолжительный разговор супругов кончился ничем и что Федулов не смел нарушить своей мировой теми истинами, которые из глубины сердца его и разума рвались на уста. Да, впрочем, к чему бы это и послужило? Ровно ни к чему. Когда им не внимали тогда, когда были моложе, стоворчивее, робче, уступчивее, когда и в то время истины эти принимались как досадное брюзжанье и оставались без внимания и исполнения, то как ждать, чтоб теперь вняли им, когда уже самовластное управление всем и беспрепятственное исполнение своей воли, обратилось не только в привычку, но даже в нечто должное и неотъемлемое.

Федулов ушел в контору, благодаря внутренне сам себя, что не обратил мировой в новую ссору. «Нечего делать, — думал он, — Матрену не убедишь и не переспоришь, уступлю по наружности, пусть она думает, что Тревильскому можно жениться на нашей дочери или тихонько от матери, или явно

против ее воли, но, по крайности от этого дня, я буду неусыпно стараться, чтоб такого несчастья не случилось. Вся моя надежда на дочь: скажу ей просто, что она сделает мне удовольствие, если будет избегать самомалейших сношений с графом Тревильским и что никогда не будет ни согласия моего, ни благословения на то, чтоб она вступила в чужую фамилию, которая не хочет принять ее».

Между тем как благоразумный Федулов решается на такие успешные меры отклонить от семьи своей неприятное событие — прекрасная Фетинья давно уже в саду; уже она сделала по совету Маши — умучила свою надзирательницу и усадила ее в тени под колоннами, приказала уставить столик перед нею всем, что только палатка имела усладительного и прохлаждающего, и попросила позволения погулять еще с Машею, которая, как будто из земли выросла, тут очутилась.

— Хорошо, хорошо, милушка! Поди, побегай, погуляй, дитя мое, но только вот по этой аллее, в сторону не ходи; смотри за нею, Маша.

В одно и то же время, когда прелестная Фе-

тинья, усадив надзирательницу свою за маленьким столиком, летела как зефир вдоль широкой аллеи, и тем отважнее, что сад был почти пуст, граф Георг Тревильский в красивом и щегольском тюльбюри[6] мчался вихрем к воротам этого ж самого сада. Тот и та прибыли в одно время, и вся разница была только в том, что граф входил в сад через большие ворота, а молодая Федулова выпархивала из него через маленькую калитку.

В первую секунду граф закипел восторгом от этой встречи и бросился было к своему светозарному гению, от которого казалось ему, что весь сад заблистал лучами радужного огня; однако ж другая секунда заставила его несколько утихнуть и остановиться: он дал свободу одним только глазам своим, и эти-то два прекрасные черные глаза проводили милостивую Фетинью через всю ширину улицы прямо к угольному дому и даже последовали за нею в чернеющуюся глубь ворот или арки, под которую проворно вошла стройная, воздушная Фетинья Федотовна и вкатилась малорослая, кругленькая Маша.

Неподвижность Георга, как будто прико-

ванного к месту, на котором остановилась его неожиданность и странность этого явления, начала уже привлекать на него внимание проходящих; многие также останавливались и ждали, что будет далее с молодым красивым барином, так надолго остолбеневшим. Другие проходили, но беспрестанно оглядывались и сказывали об этом случае встречающимся, которые тотчас прибавляли шагу и, приближаясь к Тревильскому, начинали идти тише, всматриваясь ему в лицо!

«Тревилский! Не сошел ли ты с ума?» Это восклицание и вместе вопрос сделаны были гусаром Сербицким. Он проезжал мимо и, увидя тюльбюри Тревильского, сошел поговорить с Георгом, удивляясь, что ему вздумалось гулять в таком месте, куда никто почти никогда не приезжал из лучшего круга. Странное положение Георга, стоящего неподвижно на одном месте и не спускающего глаз с ворот углового дома, прямо против сада, удивило его чрезвычайно. Заметь, что проходящие начинают останавливаться, возвращаться, нарочно проходить мимо его остолбеневшего приятеля, он поспешил к нему и обя-

зательным вопросом: «Не сошел ли ты с ума?» — возвратил ему употребление его.

Сербицкий повлек почти насильно Георга вдоль аллеи к противоположному выходу из сада. Он взял его под руку и шел с ним прямо к тому столику, за которым праздновала тучная надзирательница Федуловой.

— Какой ты чудак, Георг! Что ты там рассматривал так внимательно? Я, право, испугался; вообрази, что люди уже начали было собираться около тебя, как около прекрасной статуи! Что с тобою было? Уж не носился ли пред тобою призрак твоей Уголлино? Кого ты видел там, под воротами?

Сербицкий был прекрасный молодой человек физически и морально, то есть: хорош собой и превосходных правил. Несмотря на ветренность, свойственную его возрасту, он способен был к сильной привязанности и верил, что люди более хороши, нежели дурны. Георга любил он всею душою, и хотя позволял себе называть прекрасную Фетинью «Уголлино», но тем не менее признавал, что она милая, скромная девица, редкая красавица; и хотя шалун уверял друга своего, что дивная кра-

сота Фетиньи делает имя ее первым между самыми благозвучными именами, что называться Фетиньею будет значить называться красавицею, но вместе с этою шуткою он уверял непритворно, что по редким преимуществам своим девица Федулова достойна быть если не на престоле, то, по крайности, хоть — графинею Тревильскою. Пред ним одним только не скрывался Георг с своею любовью к дочери Федулова; ему одному только сообщал свои опасения, что мать его никогда не согласится на его союз с Фетиньей и никогда не простит, если он в этом случае поступит по своему произволу.

На вопросы Сербичского Георг отвечал рассказом о встрече с Фетиньей и о том, как поспешно и таинственно перебежала она улицу в сопровождении одной только девки и ушла в дом довольно ничтожной наружности.

— Воротимся, Жорж! Посмотрим; надобно узнать, что это такое? Что за дом? Кто там живет? Зачем она ходит туда? К кому? Пойдем, пожалуйста!

— Я, право, не знаю, Адольф, можно ли это; мне бы очень хотелось войти в этот дом, да

под каким же предлогом? Зачем?.. Боже мой! Боже мой! Я теряюсь в догадках! Как это могло случиться, что она одна здесь, с девкою только, без человека, без надзирательницы, ходит по улицам, входит в дрянные дома!.. Пойдем, Сербицкий! Чего б то ни стоило, надобно узнать, что она там делает?

Молодые люди повернули назад и поспешно шли к воротам сада, но за ними раздался визгливый голос:

— Граф Тревильский!.. господин Сербицкий!.. господа!.. остановитесь на минуту!

Они оглянулись: за ними спешила, переваливаясь, как утка, надзирательница Фетиньи, провожаемая двумя лакеями без ливреи.

— Вот дура, — шептал Сербицкий своему другу, — твою Уголлино пустила бегать одну, а сама ходит под охранением двух человек, тогда как самым верным охранением могла бы служить ей ее наружность!.. Здравствуйте, Катерина Ивановна! Что это вам вздумалось здесь гулять? Теперь это место заброшенное.

— Фетиньюшка что-то вздумала сюда ехать, да вот не знаю, где она; пошла с Машею, я, видите, устала, а она, дитя молодое,

побегаю, говорит, с Машуткой, да и пошли, будет с полчаса уже; не знаю где? Подите-ка, — она оборотилась к лакеям, — поищите Фетинью Федотовну: ты в эту сторону, а ты поди около пруда.

Надзирательница опять села в уверенности, что молодые люди останутся с нею, как будто это могло случиться, когда Фетинья не при ней; но бедная Катерина Ивановна увидела себя совершенно уединенною, как пустыньницу: ее окружали одни только кусты сиреней, потому что граф и друг его исчезли с первых слов ее приказаания своим людям.

— Как же мы войдем, Маша? Зачем? Что скажем, когда спросят: «что вам надобно»?

— Скажем, пришли смотреть угол. Ведь всякий может прийти посмотреть то, что отдается внаймы.

Говоря это, храбрая Маша отворила дверь, близ которой они стояли, и вошла первая.

— Бог в помочь, бабушка! — сказала она старой женщине, которая сидела у окна в креслах старинной формы, обитых трипом,[7] и что-то шила. Старуха, взглянув на пришед-

ших, поспешно встала. В хижину ее не заходили такого рода гости; впрочем, она не Фетинью сочла особою высшего разряда, прекрасная Федулова была одета, по обыкновению, очень мило, но просто; а это Маша, расцветившаяся как можно больше, показалась ей не менее как герцогинею. И вот владетельница угла в недоумении поклонилась низко и ожидала в молчании, что угодно будет сказать этому существу, на котором блещут всевозможные яркие цветы, светится бронза и веется старый газ. На Маше была розовая шляпка с светло-голубым подбоем, под нею через весь лоб бронзовый гладкий обручик; на шее лиловый газовый платочек, придерживаемый чудовищною брошью в ладонь величиною; батистовый воротничок, палевое граденаплевое платье, черный передник, вышитый красными цветами, и малиновые башмаки, унизанные блестками.

Малорослая горничная, заметя, какое действие производит попугайный наряд ее на старуху, села важно в оставленные ею старинные кресла, приглашая Фетинью поместиться на ближнем стуле.

— Отдохнемте здесь, Фетинья Федотовна. Что, добрая старушка, этот угол у вас никем еще не занят?

— Занят, сударыня, но только до вечера, завтра будет свободен, жилища съезжает, — отвечала старая женщина, опять поклонясь низко и почтительно. Потом она оборотилась к Фетинье — с ней смелее можно говорить: на ней ничто не блистало и не было ничего ни красного, ни желтого, ни голубого. — Разве ее милость хотят поместить кого в моем углу? Я отдала бы недорого.

Фетинья не отвечала и даже не слышала вопроса старухи; все ее внимание было занято этим углом, в котором она так нетерпеливо желала быть. Молодая девица не понимает чувства, которым полно сердце ее; не может дать себе отчета в том необыкновенном впечатлении, какое производит на нее вид этого угла. Он нравится ей — мало этого: мрачный приют бедности трогает ее до умиления; ей кажется — и она несколько пугается столь странного ощущения, — ей кажется, что она охотно бы поселилась в нем навсегда.

Между тем как она молчит, взор ее задум-

чиво переносится с одного предмета на другой: простой деревянный стол, несколько стульев, тоже простых, одно старинное кресло, занятое теперь Машею и бывшее единственным остатком и вместе напоминанием давней роскоши; широкая лавка с изголовьем, в самом углу сундучок маленький, на нем чинно поставлена пара башмаков розовых; на стене между двумя окнами небольшое зеркало в зеленых рамках, стекло его темно и в крапинах; над ним на большом деревянном гвозде висит шляпка граденаплевая, коричневого цвета, с малинового подкладкою, убранная светло-голубыми лентами и закрытая от пыли худым кисейным платком. В переднем углу образ старинной живописи, то есть темный до того, что нельзя разглядеть лица изображенного на нем святого. Перед ним лампада, медная, посеребренная, повешена на медных тоненьких цепочках; в нее вставлен небольшой хрустальный стакан, наполненный до половины водою, сверх ее масло, поплавок и зажженная свечилка. Огонь этот, символ любящего сердца, горит день и ночь перед изображением угодника!..

Молодой Федуловой что-то так отраднo, так легко в этом угле! Она вся отдалась мыслям: «Так вот где живут, проводят дни и ночи, имеют все потребности жизни помещенные не в двенадцати или пятнадцати комнатах, но близ себя, на пространстве четырех шагов! Здесь, не делая шагу никуда, работают, молятся, обедают, отдыхают, размышляют, плачут, смеются, любят, ненавидят, одеваются, раздеваются, надеются, отчаиваются! Все, все ощущения сердца, разума, все действия воли происходят здесь! Ни с каким чувством, ни с каким поступком, ни с какою мыслью даже нельзя остаться без свидетелей! Все видит, на все смотрит, за всем следит тусклое око этой седой старухи: она хозяйка здесь; око ее устремляется на светлую слезу горести и на веселую улыбку радости; оно рассматривает быстрый внезапный румянец, и оно же созерцает мертвенную бледность того существа, которое ведет жизнь свою, со всеми ее радостями и печальями, в маленьком углу ее комнаты!»

Мысли эти не заняли и столько времени, сколько надобно, чтоб прочитать их: они про-

летели молнией; и так резвая Маша тотчас же отвечала на вопрос старухи, сделанный ею Фетинье:

— Да, бабушка, вот эта девица хочет сама нанять его; она, как видишь, не богата, за целый покой платить не в состоянии; так чтобы ты взяла с нее за свой угол?

— Да что с ее милости! Возьму то же, что и с других; мне лишнего не надобно; вот уже срок лет, как я отдаю его внаймы, и никогда не был он и двух дней без жильца или жилицы. Вот и теперь жила в нем вдова молодая; угол мой удивительно счастлив; она прожила здесь не более года и уже выходит замуж за богатого мещанина, торговца какого-то. Завтра она оставляет мой угол, чтобы переехать в одну из порядочных улиц, не главных, разумеется, но и не из последних, там наняла она две горницы с кухнею и чуланом, да еще сарайчик для дров; о, из моего угла выгодно перемещаются!..

Маша встала.

— Пора нам идти, Фетинья Федотовна!

Старуха спешила извиниться в своей болтливости:

— Простите, матушка! Заговорила!., виновата: ведь уж осьмой десяток доживаю; память плоха; иное раз двадцать перескажу... так что ж — угодно девице уголок мой нанять? Цена недорогая, четыре рубля в месяц; дрова общие. Как порешитесь? Кажись, сходно.

Маша с трудом удерживалась от смеха; Фетинья ничего не слушала; она сидела на лавке, приставленной к стене, и была так довольна, так покойна, как никогда не бывала в своей великолепной спальне, ни в прекрасной гостиной, ни в роскошном будуаре.

Старуха, для которой убранство Фетиньи казалось очень обыкновенным, потому что изящество его и дороговизна не могли быть ей понятны, спросила ее:

— Ну что ж, девица красная, надумалась ли? Приглянулся ль тебе уголок? Переезжай, красавица, жалеть не будешь: цена не велика, я хозяйка добрая и баба веселая, со мной не соскучишься; а уж как счастлив угол мой! Сколько человек вышло из него на такое большое счастье, что и во сне-то им не снилось такого! И ты, моя лебедушка, поживешь,

поживешь у меня да и выпорхнешь себе за графа!

Слово «граф» было магическим для слуха Фетиньи; его уже она не могла не услышать; вздрогнув, устремила она удивленный взор свой на пророчествующую Сивиллу...

Вдруг Маша вскрикнула:

— Уйдемте скорее! ради бога, уйдемте! Посмотрите, люди ваши бегают то туда, то сюда по аллее, ведь это они нас ищут!.. Ах, господи, твоя воля! Взгляните, взгляните, Фетинья Федотовна! Вот стыда-то, стыда не обернуться! Что теперь скажем!..

Маша то указывала в окно, то тянула за руку Фетинью к дверям, говоря: «Убежим, спрячемся!» — то металась по горнице, сама не зная, что делать, одним словом, ветренная девушка, казалось, совсем вздурилась от испуга, и сама Фетинья несколько смешалась, и правду сказать, было от чего: из ворот сада чинно выступала дебелая надзирательница, за нею шли люди Федулова, по сторонам ее, справа и слева, граф Тревильский и молодой гусар Сербичский. Все они направляли путь свой прямо к убежищу нищеты, к счастливому углу, отку-

да выходят на большое счастье и выпархивают за графов.

Пока так тревожатся внутри покоя бедной старухи, пока она сама крестится от удивления при виде беспокойных движений и сильного испуга блистательной дамы, одетой так великолепно в крайню-желто-зелено-голубые ткани, флеры и газы, — процессия подходит к воротам и приятель графа говорит ему на ухо:

— Образумься, Тревильский! Куда ты идешь? Зачем? С какой стати хочешь быть свидетелем какой-нибудь сцены, которой после сам не рад будешь.

Граф не слушает, идет и с напряженным вниманием смотрит на окно, на котором приклеена бумажка с роковым словом «угол» — виною всей этой тревоги.

Наконец все уладилось. Фетинья, сказав Маше, чтоб она перестала бросаться из угла в угол, просила старую женщину отворить двери и пригласить подходящую толпу войти к ней.

— Это все мои знакомые, добрая женщина, скажи им, пожалуйста, что девица Федулова здесь у тебя.

Хозяйка, начавшая понимать, что расцвеченная Маша не такая великая особа, как ей было показалось, шла уже к дверям, чтоб исполнить приказания молодой гостьи своей, но, услыша последние слова, вдруг остановилась:

— Девушка Федулова! Неужели дочь Федота Федуловича?.. Неужели!.. О, судьбы божьи! Судьбы неисповедимые!.. — Старуха забыла, о чем просила ее Фетинья; она подошла к ней ближе, смотрела на нее и протирала глаза, на которых беспрестанно навертывались слезы: Так это ты, мой цветок прекрасный! Моя лебедь пышная! Как это я, старуха глупая, не узнала тебя? Фетиньюшка, ангелочек мой, какая же ты красавица стала!.. Сядь, моя матушка! Сядь, мое сокровище ненаглядное!.. И ты пришла сюда! Ко мне! Ты отыскала меня! А я-то думаю, вот пришли нанимать угол мой. Ха, ха, ха, милочка ты моя!

Восклицания старухи, ее слезы, ножные наименования, какие давала она Фетинье, привели эту последнюю в величайшее изумление; но удивляться некогда, требовать объяснения также, потому что вот входит по-

чтенная Катерина Ивановна одна (граф имел благоразумие уступить настоянию своего друга и не пошел за надзирательницей). Вид ее пасмурен, она смотрит на Фетинью, можно было бы сказать — укоризненно, если б ее маленькие, серые, чуть видные из-за щек глаза способны были выражать какую-нибудь мысль или чувство; итак, она смотрит просто, как смотрит обыкновенно. Но ведь Фетинья знает, что она не права, что надзирательница может досадовать и что хотя взор ее устремлен на нее бессмысленно и стекловидно, однако ж устремлен для того, чтобы выразить неудовольствие.

— Извини меня, милая мамушка, — говорит ей ласково юная воспитанница ее, обнимая своими маленькими, деликатными ручками огромную, тучную массу плеч и груди Катерины Ивановны, — извини, что я зашла сюда тихонько от тебя. Мне до смерти хотелось знать и видеть, что такое «угол», а ты бы ведь не позволила идти, если б я попросилась у тебя. Не сердись же, добрая моя Катинька.

Толстая рука Катиньки обвилась около стройного стана милой, ласкающейся деви-

цы; она прижала ее легонько к себе:

— Ну, ну! так уже и быть! Что сделано, не воротишь! Да в другой раз, милушка, не ходи, ради бога, в такие места... Девушка молодая, красивая, богатая, воспитанная и ходит бог знает где, одна или, что еще хуже, как одна, вот с этою вертопрашкою... видишь, как расцветилась!

Говоря это, надзирательница, или, приличнее назвать, мамушка Фетиньи, подходила к дверям, держа ее за руку; но старуха, молчавшая в продолжение этого переговора, теперь заступила им дорогу.

— Взгляните же на меня, матушка Катерина Ивановна! Так не уходят от старых знакомых... А вас тотчас узнала я, диво, что вы-то меня как будто не признаете; уж когда бог привел вас опять в мой угол, так посидите у меня с минутку, дайте поглядеть на себя!.. Ну садись же, садись, Катя! Полно смотреть-то на меня как на чудо, я все та же, давняя хозяйка твоя, мещанка Степанида Прохоровна; садитесь, мои голубушки сизые, дайте моим старым глазам порадоваться на вас в последние... ведь уж скоро... — Старуха не договори-

ла, она отерла слезы, усадила почти насильно Катерину Ивановну, поцеловала в лоб Фетинью, которая сама добровольно опять села, и побежала на погреб принести меда попотчевать милых гостей, которых привел к ней сам бог милосердный.

— Ну вот, Фетиньюшка, на какую беду навела ты себя и меня, — говорила шепотом надзирательница, усаживаясь неохотно на широкую лавку.

— Какая же тут беда, мамушка? Что худого побыть две минуты у доброй женщины, твоей знакомой? Она, видно, и меня знает?

— И, полно, милочка! Где ей знать тебя! Так, вклепывается; да ты, ради бога, и не спрашивай; отведаем уже, когда нельзя миновать, ее меда да и уедем поскорее. Вот, право, беда какая сделалась! А все ты, коза дикая, Машка! Поплатишься ты мне за это!

Маша и ухом не вела, слушая эту угрозу. Теперь только угадала она, куда завела свою госпожу, и наперед восхищалась, какую диковинную новость сообщит своим подругам, а особенно ключнице Акулине. «Пропадет с дива старуха, — думала нелепо разряженная по-

веса, — побегу скорее домой!» Маша неприметно выкралась за дверь и пошла так скоро, как только можно идти скоро, не бежа бегом.

Старая Степанида принесла в хрустальной кружке мед, который она сама варила с неподражаемым искусством.

— Отведай-ка ты моего медку, солнце мое красное! Лебедь ты моя белая, красивая!

Степанида налила меда в стаканы и поднесла прежде Фетинье, а после Катерине Ивановне: поклонилась этой последней, сказав: «Прошу выкушать на здоровье, матушка Катерина Ивановна!» — и остановилась против Фетиньи, не спуская глаз с нее.

— Ну уж одарил тебя господь, мою пташечку! Хороша ты, как серафим шестикрылый! Розан пышный! Красавица ты писаная! И не думала я, ввек не думала, чтоб ты вышла такая красовитая!..

Надзирательница поспешно допила свой стакан, встала и, взяв старуху за руку, отвела ее подалее от Фетиньи.

— Степанида Прохоровна! Не забывай уговора; ты ведь побожилась перед образом, так удержишься же от лишних слов; ты столько на-

говорила, что мне теперь покою не будет от расспросов Фетиньи.

— Ну, ну, Катя, полно хлопотать-то о пустяках, я ведь побожилась только, что к вам не приду никогда: ну, я сдержала свое обещание: двенадцать лет я не знаю, где и дом ваш стоит; а когда уже вы сами пришли ко мне, так что за беда, что я похвалила такого ангелочка! Кто не похвалил бы ее, мою красавочку!..

— Нет, уж нет, Степанида Прохоровна, неосторожна ты!.. И хвалишь, и смотришь, и плачешь, и причитаешь бог знает что!.. Как тут не подумать чего-нибудь! А все это проклятая Машка! Надобно ж было привести ее сюда; добро ты, негодная девка! Счастлив твой бог, что я сама тут виновата, позволила Фетинье ходить одной, а то досталось бы тебе на орехи! Не забыла бы до новых веников!

— Да что ж вы слишком тревожитесь, Катерина Ивановна? Нет еще большой беды, что Фетиньюшка... Фетинья Федотовна зашла ко мне... — сказала старуха громко и с досадою. — Не выводи меня из терпения, дура! — прибавила она едва слышным шепотом, сурово взглянув на надзирательницу. — И за то,

что ты смела наговорить мне столько пусто-го, приводи всякий месяц на полчаса ко мне мою Фетиньюшку — слышишь! Да непременно же!

И прежде нежели Катерина Ивановна, испуганная таковою неожиданной выходкой старой Степаниды, могла образумиться, маститая владетельница угла подошла к Фетинье:

— Я стара, моя бесценная жемчужинка, очень, очень уже стара, не долго мне любоваться светом солнца красного, приходи же изредка радовать собою сердце мое и веселить очи, ты для них милее и краше солнца яркого, мне на душе легче, мое дитяtko, когда я смотрю на твою красоту чудную. Сделаешь это для меня, Фетиньюшка... Фетинья Федотовна? Будешь приходить ко мне?

— Буду, буду, бабушка! Непременно буду!

Старуха затрепетала. С минуту колебалась она; казалось, ей хотелось что-то сказать, однако ж она удержалась и удовольствовалась только поцеловать Фетинью в лоб. Она еще раз отерла слезы, говоря:

— Куда как слабы стали глаза мои, на что

посмотрю пристально, так слезы и побегут; дай бог тебе здоровья за доброту твою, моя красавица ненаглядная! Теперь прощайте, господь вас благослови, поезжайте домой!

Фетинья во весь обратный путь думала о старой Степаниде: «Какая добрая женщина и как сильно она полюбила меня! Угол!.. Милое жилище, угол!.. Как мне было покойно, отрадно, когда я сидела там; почему не жить в угле? Почему не быть там счастливою?.. „Выпорхнешь за графа!“...»

Окончание мысленных восклицаний Фетиньи заставило ее покраснеть; но вдруг оборотилась она к госпоже Зильбер:

— Мамушка! Почему не дали мы ничего доброй Степаниде? Ведь она бедна. Как это досадно! В другой раз... да зачем в другой раз? Я завтра же поутру отошлю ей с Машей!..

— Что вы хотите послать ей? Денег нельзя; она не возьмет.

— Как не возьмет! Почему? Ведь она бедна?

— Не столько, чтоб брать в подарок деньги. У нее есть дом, она получает с него доход.

— Помилуй, мамушка, что за доход, четыре

рубля в месяц! Столько, кажется, ей платят за ее угол! чем тут жить?

— Этих углов у нее много.

Фетинья тотчас вспомнила, что Степанида называла себя бывшею хозяйкой Катерины Ивановны, однако ж промолчала и сказала только, что она и не думала давать денег старой женщине, но что пошлет ей тот темно-зеленый атлас, который отец подарил ей на занавес.

— Вот кстати: что ж она будет делать с таким подарком?

— Сошьет себе юбку и шугай.

— Как будет мила! Э, эх, милочка, Фетинья Федотовна! Ребячий разум у тебя! Ну к чему старой, простой женщине такое богатое платье? Ведь кроме того, что это лучший атлас венецианский, по осьмнадцати рублей аршин, если не ошибаюсь, он еще и вышит цветами внастилку с золотом, серебром и блестками; его приготовили уже, как должно для занавеса.

— Однако ж, мамушка, он вышит так, что его можно употребить на что угодно; на нем нет тех узоров, какие приличны одному толь-

ко занавесу. Степанида не будет смешна в моем атласе.

— Мудрено не быть смешною осьмидесятилетней старухе, крестьянке, одетой царски великолепно.

Госпожа Зильбер остановилась вдруг; она боялась, чтоб воспитанница ее не обиделась этим заключением; но как кроткая Фетинья не имела странных притязаний своей матери и сверх того ни минуты не сомневалась, что отец ее от самой колыбели — именитый гражданин и первой гильдии купец, то даже и не заметила, что было колкого в словах, намекающих на то, что пышность и великолепие нейдут простолюдинам.

Наконец карета остановилась у подъезда огромного дома Федулова. Фетинья выпорхнула как зефир и взлетела на лестницу, прежде нежели дебелая Катерина Ивановна, или, как Фетинья звала ее, мамушка, поставила прочную ступень свою на щегольскую подножку кареты, чтоб выйти.

«Господи, твоя воля! Не миновать беды! — говорила надзирательница, спеша, как могла, взойти на лестницу. — Вот теперь побежала

вперед стремглав, встретится с матерью, смешается, сконфузится и при первом вопросе все расскажет... а тогда уже и беги вон... Заговорила я об этом проклятом атласе да и забыла... о, господи, задохлась! Эдакая ветреница, улетела!»

Однако ж опасения надзирательницы не оправдались, и вся беда прошла стороною. Федуловой не было дома; и так Катерина Ивановна успела вразумить Фетинью, что если она уже от нее ушла тихонько к старухе, то от матери и подавно надобно скрыть этот визит.

Молодая девица на другой же день отослала с Машей свой атлас к старой Степаниде, которая, получа такой неожиданный подарок, и плакала и хохотала над ним; называла Фетинью своею доброю милочкою и вслед за этим маленькою дурочкою. «Ох ты, моя крошечка ненаглядная, прислала какое богатство!.. Дитя ты мое глупенькое! Ну к чему мне, старухе, простой бабе, такой наряд?.. Молодо, зелено, не понимает! Думает, что, ей-же, можно вырядиться и мне... хороша бы я была!.. Ха, ха, ха, ой, дети, дети! Всегда-то вы таковы... Ну, спасибо, моя Фетиньюшка, спрячу

это, хоть не на платье, а все-таки придет время, что эта материя пойдет в дело». Старуха вздохнула, отнесла подарок в чулан и спрятала в сундук, говоря: «Не надолго я запираю».

Через неделю после этого происшествия приехала княгиня Орделинская с мужем и дочерью; еще через неделю, в пятом часу утра кончился великолепный бал в доме их, данный старою княгинею по случаю возвращения детей своих из чужих краев.

Молодой Тревильский, прижавшись в угол кареты, притворился дремлющим, хотя ничто менее не шло ему на ум, как сон. Разум его и сердце более нежели бодрствовали — они были в сильнейшем волнении. Мать по временам взглядывала на него, но, видя бледность лица и сомкнутые глаза, сочла молодого человека очень утомленным и решилась оставить до завтра или, лучше сказать, до вечера то объяснение, которое она обдумывала с той минуты, как села в карету.

Поутру компаньонка графини не знала, что подумать о необыкновенно дурном расположении ее духа, Ни в чем нельзя было уто-

дить, все не нравилось: то шоколад слишком горяч — в рот взять нельзя; то опять совсем простыл — как можно подавать такой... Стекло туалета вовсе затускло... За чем же смотрит горничная и почему не напомним ей об этом!.. Кучер громко кричит на лошадей, слышно даже в уборной; глупое расположение комнат: спальня во двор окнами; и в гостиной и в зале нет возможности ни сидеть, ни разговаривать; пыль и стук от экипажей не дают минуты покойной... башмаки жмут! Чепец не к лицу! Пеньюар гадок, уродлив и беспокоен!

Сделавши это последнее замечание, как самое справедливое, графиня бросилась на диван, подперла голову рукою и отдалась глубочайшей задумчивости; досада ее превратилась в грусть; нахмуренные брови пришли в прежнее положение, чело разгладилось, и на глазах, все еще прекрасных, навернулись слезы, Компаньонка молча приготавливала завтрак. Прошло четверть часа; кофе готов был простыть так же, как и шоколад. «Прикажете, графиня?» — компаньонка держала кофейник над чашкой, в готовности по первому ма-

новению наполнить ее ароматическим напитком.

— Что, милая? Ах, да!.. Но Жорж! Где Жорж? Неужели все еще спит? Пошлите узнать, встал ли граф, и просите его сюда.

Компаньонка позвонила и, передав приказание графини вошедшей горничной, снова спросила: «Угодно кофе вашему сиятельству?» Но графиня уже опять погрузилась в свои мысли и не сводила глаз с двери. Наконец вошел камердинер Тревильского.

— Его сиятельство поехал прогуливаться верхом тому уже более двух часов.

Графиня взглянула с удивлением на компаньонку:

— Как же вы давеча сказали мне, что граф спит еще?

— Полагали так, графиня, потому что дверь его спальни была заперта.

— Все так думали, ваше сиятельство, что граф почивает, но уже кучер сказал, что его сиятельство сам оседлал свою лошадь и уехал в шесть часов утра.

Это донесение дало понять графине, что Георг совсем не ложился спать.

«Итак, он обманывал меня! Он притворялся дремлющим в карете, для того только, чтоб избежать необходимого отчета в странности своих поступков у Орделинских. Жорж познакомился с притворством, с обманом и употребляет его против матери! Неужели он имеет в этом нужду?.. Неблагодарный!..» Между тем компаньонка, нисколько не постигая душевного беспокойства встревоженной матери и приходя в отчаяние оттого, что кофе простынет, налила его в чашку графини с какою-то смешною решимостью, как будто совершила бог знает какое важное дело, и пододвинула чашку под самый подбородок графини. В другое время знатная дама нашла бы этот поступок странным или, по крайности, неуместным, но теперь она не обратила на него даже и внимания, покойно отодвинула чашку на середину стола, сказав, что не будет завтракать, что чувствует себя очень утомленной и пойдет успокоиться. Она приказала, когда возвратится граф, тотчас просить его к ней и, если она в это время будет спать, — разбудить ее.

Говоря: «если я буду спать», графиня очень

была уверена, что не будет наслаждаться сном и одной минуты; до сна ли уже ей! Вся душа ее занята опасностью видеть разрушение многолетнего труда, давних надежд и любимых мечтаний! Этот союз с Орделинскими, столь пламенно ею желаемый, так издавна приготовляемый, к которому она все так искусно приспособила, от которого так много надеялась, который дал бы столько блеска ее фамилии, — этот союз может не состояться!.. Мучительная мысль! Она не позволяет Тревильской оставаться на месте; графиня с беспокойством то переходит из спальни в кабинет, то из кабинета опять в спальню, то садится на диван, то приляжет на постель; но воспоминание бала княгини Орделинской не оставляет памяти ее ни на минуту.

Но куда ж уехал Тревильский так рано и не дав себе ни получаса отдохновения после бала, столь продолжительного и столь утомительного? Чтоб узнать это, надобно опять воротиться к тому дню, в который граф так живописно представлял статую в широкой аллее публичного сада.

От той минуты, в которую Сербичский убедил его не следовать за госпожою Зильбер в укромный домик старой Степаниды, Георг день и ночь думал об этом домике и все его время проходило в беспрестанной борьбе с тем неодолимым влечением, какое чувствовал он идти туда и узнать, что за связь существует между им и Фетиньей? Зачем она ходила туда? Кто там живет? С кем виделась? Пока он делал себе эти вопросы, пока думал и передумывал: «Идти? Не идти? С какой стати пойду я, я, граф Тревильский, знатный и богатый господин, в бедный мещанский дом разведывать, кто, зачем ходит туда?.. Почему же не зайти на минуту? Что за беда? Разве я непременно должен сказывать свое имя? Пойду просто, будто искать кого-нибудь».

Пока все это роилось в разуме юного Георга, время шло своим чередом и, наконец, привело тот день, в который давался бал у Орделинских. Был уже восьмой час вечера; Тревильский, по обыкновению, мечтал о своей Федуловой и вдруг вспомнил, что в заветном домике видел на стекле приклеенный лоскуток бумажки, на котором было что-то написа-

но. «Вот благополучие! Верно, тут что-нибудь продается или работается; завтра же посмотрю! О, непременно посмотрю и тотчас войду! Прекрасно! Прекрасно! Завтра же узнаю эту странную тайну!.. Но зачем же завтра! Почему не сегодня? Почему не сейчас? Еще довольно рано». Граф позвонил. Слуга вошел.

— Заложить коляску.

«Да, поеду, узнаю, что за дом такой? Что заставляет ее ходить туда? И так таинственно, тихонько от надзирательницы, с одною только горничной! Ах, Фетинья!..»

Размышления графа прервались сами собой при этом имени; он покраснел.

«Вот досадное имя, — сказал он вслух, — мне кажется, сам ангел покраснел бы от него! Когда я женюсь на ней, мой круг будет звать ее Фанни. Но прежде всего тайну, тайну надобно разведать».

Вошел человек, докладывая, что коляска готова и что ее сиятельство графиня прислала просить графа пожаловать к ней немедленно, она ожидает его в библиотеке.

— Скажи, иду сию минуту. — Граф взглянул на часы, стрелка стояла на восьми. «Еще

рано, — думал он, — у матушки пробуду четверть часа да столько же употреблю на езду; прежде девяти часов тайна посещения бедного домика будет мне известна!.. Но хорошо ль я делаю, — спрашивал сам себя молодой граф, и при этом вопросе шаги его становились медленнее. Он почти нога за ногою шел по коридору, ведущему от лестницы, по которой он только что сбежал к дверям библиотеки, — хорошо ль я делаю, что хочу разведывать? Может быть, Фетинья благодетельствует кому в этом жилище!.. А если?.. Нет, нет! Надобно узнать непременно! Не могу быть покоен! Я не буду разыскивать, зачем она была там, но только посмотрю, кто живет в этом доме». С последним словом граф взялся наконец за скобку двери и отворил ее.

— Долго заставляешь ждать себя, любезный Жорж, садись. Я звала тебя, чтоб сказать о приглашении старой княгини Орделинской, она дает бал, празднует возвращение семьи своей из чужих краев. Бал будет блистательный, приглашена вся столица, но главное дело в том, что нас с тобою просит она приехать часом ранее, как таких людей, которых она

не считает уже чужими, говорит, что хочет на досуге показать редкости и вещи дивной красоты, привезенные ей сыном: пишет, что всего этого такое множество.

Озабоченный вид графа показывал, что он не слышит слова матери своей; графиня это заметила, и кровь бросилась ей в лицо.

— Мне очень странно, Георг, что ты всякий раз, когда я начну говорить об Орделинских, слушаешь меня рассеянно или и совсем не слушаешь! Удивляюсь, что сын мой позволяет себе такое обращение со мною!

— Маменька! Милая маменька! Не думайте так, ради бога: я слушаю вас всегда с почтением, о чем бы вы ни говорили мне, но теперь я задумался на минуту оттого, что мне надобно сейчас ехать со двора. Так я рассчитывал, успею ли возвратиться к назначенному времени, чтоб сопровождать вас на бал. Простите же меня, маменька!

Граф с нежностью целовал руки графини; а как мать — всегда мать, то госпожа Тревильская была тронута до слез ласками юноши и, поцеловав его в лоб и глаза, назвала своим сокровищем, неоцененным благом,

единственным счастьем в жизни и сказала, чтоб ехал, куда ему было надобно, но чтоб постарался, если можно, возвратиться через час.

— Потому, мой милый Жорж, — прибавила графиня, сжимая сына в объятиях, — что старая княгиня имеет какие-то планы именно для этих двух часов, которые останутся свободными между приездом нашим и прочих гостей.

Графиня занялась своим туалетом, а граф, бросаясь в коляску, приказал ехать к публичному саду и, оставя экипаж свой у ворот его, пошел скорыми шагами двадцатилетнего влюбленного к смиренному домику старой Степаниды.

Задумчиво смотрела престарелая владелица нескольких углов на экипажи, беспрестанно подъезжающие к воротам публичного сада, нисколько не заботясь узнать причину такого необыкновенного съезда, необыкновенного потому, что сад этот никогда не был любимым местом гулянья модного света; сюда приезжали изредка подышать чистым воздухом, полюбоваться свежей зеле-

нью, помечтать, а иногда и увидеться с кем-нибудь без помехи; но прогулки парадной, открытой, многочисленной здесь никогда не было. Итак, этот съезд мог бы обратить на себя внимание Степаниды, если б любопытство ее не было притуплено преклонностью лет ее и теми тьмочисленными случаями видеть всех родов гулянья и собрания, вовремя и не вовремя; ничто уже не было ново для осьмидесятилетней старухи, и теперь один только взор ее следил кареты, катящиеся одна за другою, но душа была полна ощущения, сколько радостного, столько и нового для нее: она приводила себе на память все обстоятельства недавнего посещения, сделанного ей Фетиньей.

«Милочка ты моя, — говорила она сама с собою, — как расцвела... как пышный мак! Как роза столиственная! Как гвоздика махровая! Что за ангел!.. А я-то, старая дура, сочла было Машку, эту верхоглядку пеструю, за знатную даму, да и не гляжу на моего херувимчика прекрасного! Оглупела! Истинно оглупела на старости! Фетиньюшка, дитя мое! Пусть бог даст тебе счастье на всю жизнь!

Пусть исполнит лучшее из твоих желаний за то, что светлый взгляд твой возвратил мне мои минувшие радости! Мою некогда столь прекрасно цветущую молодость! Да, дитя мое, ты живой портрет мой! Когда тусклые глаза мои вгляделись в тебя, то мне показалось, что это мое когда-то пятнадцатилетнее лицо отразилось в зеркале... И душа моя исполнилась неизъяснимою радостью!..»

Неизвестно, долго ли старая Степанида разговаривала бы сама с собою и жила в давно минувшем, если б пронзительный скрип двери не возвратил ее опять к существованию: к ее осьмидесяти летам и бедному состоянию женщины, живущей отдачею внаем углов своего дома. Итак, перелетев в один миг от пятнадцати лет к осьмидесяти, от молодости и красоты к морщинам и безобразию, Степанида вздрогнула, оглянулась и с поспешностью встала: перед ней стоял молодой человек пленительной наружности, одетый просто, но которого все приемы и самый даже поклон показывали знатного барина и имели в себе что-то увлекающее, что-то обязательное, чего никогда не бывает у людей низшего

класса.

Старуха хотела было спросить: что ему угодно? Но он упредил:

— Позвольте мне узнать, что продается здесь? Вот, я вижу приклеенную бумагу на окне, это, конечно, объявление, я не мог рассмотреть хорошенько, что на ней написано?

— На ней написано, батюшка, одно только слово: «угол», и он отдается внаймы; а изделий здесь никаких нет, исключая, когда угол мой занимает какая рукодельница, так она продает свою работу, но и то не на дому, а относит в магазин или гостиный двор.

Пока старуха объясняла Тревильскому значение бумаги, наклеенной на окне, он с любопытством рассматривал комнату, и ему также, как юной девице Федуловой, было что-то покойно, отрадно здесь... «Угол, — думает он, — один только угол! Но сколько счастья, — о боже всемогущий! — могло бы поместиться в этом углу!.. Для чего я не родился в том состоянии, которое позволяло бы жить здесь, не унижая себя, не делаясь посмешищем, сказкою, не слывя чудаком, оригиналом, сумасшедшим; одним словом, для чего я не

бедный, неизвестный человек!»

Велемудрствуя так нелепо и не понимая сам, отчего эта дичь идет ему в голову, потому что вовсе не было цели желать бедности и неизвестности, как таких обстоятельств, которые нисколько не могли сблизить его с Фетиньей, ни уравнивать дороги к соединению с нею! Напротив, дочь купца-миллионера скорее могла быть приличною партией графу Тревильскому, нежели бедняку, скромно и благочестиво проживающему в каком-нибудь очаровательном угле! Как бы то ни было, но только граф не налюбуется на этот угол, в котором все ему так мило, так что-то необыкновенно трогает его душу; что-то приводит на память; есть что-то родное для него в этом месте, в этом приюте бедности!

Между тем как граф все это думает, чувствует и вместе удивляется, зачем он это думает и чувствует, старая Степанида, встревоженная его молчанием, неподвижностью, а более всего тем, что во взоре его, плавно переносящемся с одного предмета на другой, рисуется какое-то чувство, которого она не умеет объяснить себе и которое готова счесть поме-

шательством, — подходит к нему ближе и говорит громко:

— Что ж вам угодно, сударь? Я докладывала уже вам, что здесь никто ничем не торгует и ничто не продается.

Тревицкий очнулся:

— Ах, извини, добрая женщина! Но... я видел!..

Граф совсем не знал, как приступить с разведыванию, потому что хотя сначала он и дал себе слово только посмотреть домик, ни о чем не спрашивая, но теперь желание узнать, зачем была здесь Фетинья, какие сношения может она иметь с этой старухой, овладело им так сильно, что разведать обо всем этом сделалось его главною и единственною целью; но как начать? Чем?

Он и то уже наводит сомнения на старуху тем, что минут с пять стоит на одном месте, молчит и все осматривает; а прерывистый вопрос его, которым он приступил было к делу, вовсе не способен был успокоить ее — напротив, он еще более утвердил ее в подозрении, что к ней вошел сумасшедший. И вот, желая избавиться такого неприятного гостя, Степа-

нида с большим присутствием духа тотчас подхватила слова Георга: «видел».

— Конечно, большой съезд видели вы? Да, это очень любопытное зрелище, для которого теперь съезжаются: будет бегать какой-то скороход; хотелось бы и мне посмотреть; не угодно ли, батюшка, вместе?

Сказав это, Степанида торопливо накинула сверх своего ситцевого шугая темно-коричневой шелковый платок и спешила отворить дверь, надеясь, что гость выйдет вслед за нею, но она не успела еще распахнуть совсем двери, как вдруг впорхнула в нее Маша, а за нею плавно вступила пожилая Акулина. Обе старухи с полминуты смотрели молча одна на другую, наконец молча же, но только со слезами бросились друг другу на шею и обнялись. Сцена эта, конечно, возбудила бы величайшее удивление в Маше и ни малейшего в графе, если б они обратили на нее внимание, но они оба были заняты более друг другом, нежели тем, что делали или говорили две старухи. Маша вскрикнула от изумления, увидев графа, а он, сделав ей знак молчать, расспрашивал о чем-то вполголоса, но только с живо-

стью и приметным нетерпением. Все четверо говорили потихоньку и с большим участием, но только обе пары отдельно и совсем не замечая одна другую. Старухи, взявшись за руки, сели на лавку у окна; они смотрели одна на другую, и слезы беспрестанно навертывались на глазах их. Граф и Маша стояли у самых дверей; первый держался рукою за скобку, и нога его была на пороге; Маша стояла перед ним и то усмехалась, то потупляла глаза и ощипывалась.

У окна говорили:

— Ах, матушка ты моя, Степанида Прохорова, не думала уже я свидеться с тобою больше на этом свете. Вот когда бог привел сойтись! И как ты постарела! Как похудела! А ведь была как лебедь белая, как кровь с молоком!

Степанида всхлипывала и усмехалась вместе:

— Вот что вспомнила, Акулинушка, да тебе когда же знать меня молодою, ты была, сколько я помню, девчоночка тогда, как я кормила маленькую княжну Мазовецкую, а мне было уже двадцать восемь лет.

— А мне десять; ты ровно восемнадцать лет старше меня; да все-таки я помню, что ты была молодлица красовитая, белая, полная, чернобровая! Как теперь, гляжу на тебя, как ты, бывало, гуляешь в этом самом саду: сарафан штофной, малиновый; кокошник золотой, жемчугу полна шея, руки белые, что снег, рукава кисейные, тонкие, что твой дым! Уж куда ты хороша была тогда: не один, бывало, остановится, поглядит вслед; не один скажет: вот красавица-то!

— Ну, Акулинушка! Что уже поминать бывшее; прошло и не воротится! Были молоды! Были хороши! Пожили свое, порадовались на белый свет, довольны! Пора думать о душе! Об ответе за грехи!.. Я вот все думаю о Матреше... виновата и перед богом, да уж даст же и она ответ перед страшным судом его! Слыханное ль дело!..

Старуха не договорила и, казалось, не совсем довольна была жалобами, которые вырвались у нее...

— Да что это, — сказала она весело, — никак я из ума выживаю! Пришла гостья дорогая, а я потчую ее оханьем да аханьем! Поси-

ди минуточку, Акулина Ивановна, я сбегаю на погреб, принесу медку; ведь ты, я думаю, помнишь, каков мой мед?

— Как не помнить! Ты первая мастерица чуть ли не в целом свете варить мед... Такой-то, я думаю, в старину пивали цари наши!

Степанида не слыхала уже этого последнего замечания, доказывающего, как хорош должен быть мед ее.

Оставшись одна, Акулина вспомнила, что вместе с нею пришла Маша. Но ее уже не было. «Видно, шмыгнула в сад ветрогонка, — бормотала про себя старая ключница, усаживаясь ловчее под окном и рассматривая беспрестанно прибывающие толпы народа. — Эка, подумаешь, тьма валит! А чего смотреть? Что за невидаль? Бегают кто-то! Ведь, чай, и деньги дают! Чем-то люди не промышляют, как подумаешь».

Наконец мед принесен. Седая осьмидесятилетняя Степанида Прохоровна угощает и припрашивает «кушать во здравие» свою старую знакомую. Выпив один стаканчик с обычною церемонией и оговорками, как во-

дится, велось и будет вестись в простом народе, Акулина выпила другой, несколько уже с меньшими затруднениями; по третьему огромному стакану обе старухи поставили подле себя, чтоб пить из них с расстановкой, отдыхом, понемногу и тем продлить эту усладительную приправу к своей беседе, которая с каждою минутою становилась живее, и, наконец, обе старые женщины, отдавшись воспоминаниям и возвратясь мысленно и душевно к цветущему времени своей жизни, стали говорить так, как говорят люди, полагающие, что их никто не слышит. В их припоминаниях, рассказах, восклицаниях, сожалениях высказалась наконец важнейшая тайна Федуловых, и высказалась именно тому, от кого ее более всего надобно было скрывать. Старухи не подозревали, что третье лицо присутствует невидимо при их сердечных изливаниях и воспоминаниях былого.

«Это истинное несчастье, что молодая Орделинская так чудовищно потолстела и выросла! Как мне требовать от моего бедного Жоржа исполнения его обещаний?.. Да и ка-

ких обещаний? Он их не давал, а просто повиновался моей воле... Милый, благородный, чувствительный сын мой! Бог наградит тебя счастьем за эту покорность... Правда, с последнего гулянья майского замечаю я, что он чем-то очень занят и что при всяком намеке о союзе с Орделинской так искусно переменяет разговор, что я даже не вижу возможности укорить его за это... Опасна мне эта Фетинья! Хороша! Очень хороша!.. Надобно ж быть такому несчастью! Для чего насмешливая судьба делает все наыворот! Как бы кстати было поменяться княжне Орделинской своей наружностью с мещанкой Фетиньей; тогда обе они были б наделены тем, что им прилично! Надобно, однако ж, кончить начатое: союз с Орделинскими — единственная цель моей жизни и верх моих желаний. Что делать! Жорж не первый будет, у которого жена великан и богатырь вместе. Ко всему можно привыкнуть!.. А если он влюблен в Федулову?.. Прочь! Прочь, досадная мысль! Графу ли Тревильскому унизиться до женитьбы на дочери мужика, хотя б она была прекраснее самой Венеры!»

Мысленный разговор графини был прерван боем часов.

— Как, уже половина десятого! Пошлите узнать, возвратился ли граф, и прикажите подавать карету.

Компаньонка отдала приказание графини людям ее, и через пять минут пришли доложить, что граф еще не возвратился, а карета готова.

— Какой ветреник! — говорила графиня, сходя с лестницы, — скажите, милая, когда он возвратится, чтоб сейчас приезжал к княгине Орделинской; скажите, что я буду ждать его, чтоб поторопился! — Графиня говорила все это скоро, отрывисто и с приметной досадой.

Между тем как графиня Тревильская едет одна и, несмотря на власть матери, несколько тревожится тем, как примет сын ее решительное требование, чтоб он женился на княжне Орделинской; и тогда, как волнение мыслей заставляет ее ехать тише, чтоб выиграть время и хотя немного успокоиться, — Жорж, обрадованный встречей Маши, совсем забыл, что он зашел в незнакомый дом; то, о чем он хотел узнать, перестало беспокоить

его после объяснения с Машею, и он, не обращая никакого внимания на двух нечаянно свидетелях приятельниц, поспешно вышел вместе с Машею. Не заботясь о странности идти рядом и разговаривать с горничной девкой, он дошел с нею до самых ворот сада, говоря ей что-то с видом убеждения и ласково держа за руку. У ворот он оставил ее, бросился в коляску и приказал ехать во всю прыть домой. Маша вмешалась в толпу.

Граф так был занят тем, что говорил Фетиньиной горничной, что и не видал кареты графини Тревильской, матери своей, которая в это самое время проезжала мимо ворот сада и домика Степаниды. Графиня видела, как он вышел из него с какою-то девкой, перешел дорогу, беспрестанно говоря с своею спутницей; видела, как дружески он расстался с нею, как бросился в коляску, и даже слышала, как он сказал кучеру: «Ступай скорее домой». Довольно было этого! Графиня забыла, что она графиня, знатная дама, что всякое разведывание о поступках сына унижительно для нее, а особенно о поступках этого рода, что она нарушит всякое приличие, если даже сделает

вид, что заметила его, что всего лучше забыть эту встречу, как будто ее никогда не было. Тщетно разум графини говорил ей все это; сердце и воображение, подстрекаемые любопытством и подозрением, делали свое: графиня приказала остановиться, вышла из кареты и, не приказав человеку следовать за собою, пошла к маленькому домику, из которого вышел граф.

Домик Степаниды был в одно жилье или этаж; войдя в сени, можно было видеть трое дверей с одной стороны и двое с другой. Сказано уже было выше, что старуха разделила свой дом для отдачи внаймы на углы; лучший из них был на улицу, по соседству с ним жила и сама хозяйка, то есть в этой же комнате, но другие два были в той половине дома, которая выходила во двор окнами; впрочем, эти два угла от главного отделялись одной тонкой перегородкой. Вошед в сени, графиня отворила наудачу дверь среднюю; она увидела себя в горнице пустой и без мебели и в ту же секунду услышала голос женщины, которая говорила:

— Да, милая Акулина! Я была большая

грешница! Княгиня Мазовецкая и не подозревала, когда отдавала мне кормить маленькую дочь свою, что я любовница ее мужа, что моя Матреша не только что молочная сестра ее дочери, но вместе и родная по отцу; все это так хорошо скрыли от нее, что она до самой смерти ничего не знала и подписала мою отпускную не читавши, а то было бы хлопот, кабы прочитала. В отпускной-то сказано мое настоящее звание: «Дворовая девка Степанида Прохорова, дочь Зорина, отпускается на волю». А ведь княгиня-то считала, что я вдова того плотника, что умер от ушиба бревном.

— Диво, как все это спрятали от барыни-то! И таки никто и не намекнул?

— Никто, ни одна душа не смела и заикнуться! Ведь с князем-то шутить не приведи бог! Челядь тряслась от него!

— Ох, да! Лют был покойник, царство ему небесное; наслышалась и я. Ну что ж, как отпустили тебя на волю?

— Ну что? Ничего! Что мне воля, тогда я и без воли была барыня! Князь души не слышал во мне... Думаю, если б бог продлил ему веку, он женился б на мне, как жена его умер-

ла.

— Правду ли говорят, Степанида Прохорова, будто он отказал тебе много денег?

— Нет, хотел было он для Матрешки положить в ломбард сто тысяч, да не успел. Ведь ты знаешь, что он умер скоропостижно. Я осталась только с тем, что дала мне покойная княгиня за выкормление дочери. На эти деньги я купила себе домик и с тех пор все и живу доходами с него.

— Ну, как твоя вскормленница вышла за графа Тревильского, так неужели она ничего тебе не подарила?

— Она даже не знает, живу ль я еще на свете. Я никогда к ней не показывалась с того дня, как передала ее на руки нянькам.

— А почему? Кормилицы обыкновенно любят тех, кого выкормили, да и дети их любят также.

— С нами не так было, Акулинушка! Видишь, я была хороша собой, так и задумала о себе много. Барыня видимо хирела, таяла: я почти уверена была, что заступлю ее место, как только она умрет, мысленно я считала уже себя княгиней; Матреша моя росла вме-

сте с маленькою княжною и была девочка буйная, часто обижала мою воспитанницу, и когда ребенок приходил ко мне жаловаться, то я, но слабости материнской, всегда обвиняла самую княжну и, каюсь перед богом, была жестоко несправедлива. До пяти лет граф не брал своей дочери от меня, и в эти пять лет неправота моих поступков поселила в маленькой княжне такое сильное отвращение к моей дочери и боязнь ко мне, что впоследствии она с плачем и испугом убежала в комнаты своей матери, когда ей говорили: «кормилица пришла». По смерти князя и княгини опекуны их дочери дали мне понять, что мне нечего более делать в их доме; я удалилась сюда и, оставя все греховные помыслы, жила трудами рук своих и тем доходом, который и теперь дает мне домик мой. Взрастила дочь, выдала ее замуж за молодого крестьянина, приехавшего из отдаленной губернии для того, чтоб с небольшим капиталом своим наняться в приказчики к какому-то богатому купцу. Пока до чего, он остановился у меня... Но тут было страшное дело: об деньжонках его проведали какие-то мошенники, да и за-

брались в чулан, чтоб, как парень заснет, убить его; моя Матреша увидела, как они подходили уже к постели его, и бросилась прямо под нож! Уж, видно, богу угодно, чтоб душегубы испугались молодой девки; они выбили окно и бросились из него на улицу, а молодой человек просил меня отдать ему его спасительницу в жены. Так я отдала мою Матрешу и думала было, что найду в ней утеху и опору моей старости; но бог не дал мне этого счастья; богатство ожесточило сердце моей дочери — муж ее теперь один из первых богачей, и именно это ваш Федулов.

Акулина вскрикнула от изумления:

— Как! Так хозяйка наша твоя дочь, Степанида Прохоровна?.. Слышала я, что она из бедных; что выросла в наемном угле, но ни в жизнь бы не подумала, что она твоя дочь... А смотри какое диво!.. Ну, а Фетинья-то Федотовна? Ведь и об ней также говорят, что она будто бы родилась и выросла в бедном уголке. Стало быть, твоя Матрена долго еще жила у тебя?

— Да, пока муж ее ездил за море со своим хозяином, она жила у меня; здесь родилась

Фетиньюшка и была уже четырех лет, когда Федулов возвратился с довольным прибытком. Тогда они переехали от меня в хороший дом. Я со слезами просила, чтоб оставили мне Фетиньюшку, говорила, что у них будут другие дети, а эта пусть была бы мне на утеху. Нет, не согласились, и именно Матрена. После Федулов начал богатеть с каждым годом более, успехи его в торговых оборотах дивили всех; не было такого замысла, который бы ему не удался и не принес барыша сто на сто: я не успела осмотреться, как зять мой был уже купец и капиталист-миллионер. Вместе с богатством бог наслал затмение на разум моей дочери; она вообразила себе, что может отдать свою Фетиньюшку за первого вельможу, за князя, за графа, воспитала ее как принцессу; себя и дом свой повела на знатную ногу и в довершение всех беспутств своих вырвала у меня клятву никогда, никому не говорить, что я мать ей, и никогда не искать видеть Фетинью. Я плакала, сердилась, говорила, что бог накажет ее за такое незаконное требование, но ничто не помогло, она настояла на своем, грозила уехать совсем вон из государ-

ства, если я не уступлю ее желаниям. Нечего делать! Я обещала, что никто и никогда не услышит от меня о моем близком родстве с нею. После я слышала от многих, что, говоря о Федулове, они рассказывали, что он женат на богатой купеческой дочери из Ярославля; как она успела распустить этот слух, не знаю; но думаю, что ложь перед богом преступление, а перед людьми не может быть прочна.

— Уж и очень не прочна! Почти никто не верит ее выдумке, а все говорят, что она была бедная крестьянская девочка, и чем больше она силится выйти на барскую статью, тем более нападают на ее низкое происхождение. Бывает ли она когда у тебя, Степанида Прохорова?

— Никогда! С того дня, как она заставила меня поклясться перед образом, что я не буду мешать ей выдать Фетинью по ее желанию за знатного господина, она рассталась со мною навсегда. Безжалостная сказала мне, что как я дала ей жизнь не таким образом, как требуют законы чести, то чтобы и не жаловалась, если она постарается забыть об этом обстоятельстве и не приводить его себе на память беспо-

лезными свиданиями. Вот уже четырнадцать лет, как я никогда не вижу и даже нигде не встречаюсь с Матреной. Сначала сердце мое очень болело; я любила ее, ведь мы жили вместе долго; двадцати лет я отдала ее замуж и зятя приняла к себе; вот этот лучший угол я отделила им; они жили в нем лет восемь, пока муж ее расторговался; у них что-то долго не было детей, и уже в тот год, как Федулов поехал за море, она сделалась беременна; я было не вспомнилась от радости, думала: слава тебе господи! Дождалась утехи на старость, буду нянчить внучка! Не тут-то было!..

— Ну что ж, Степанида Прохоровна, ведь и нянчила, нечего бога гневить; сама говоришь, что Фетиньюшка до четырех лет жила у тебя.

— Оно так, Акулинушка! Благодарю создателя и за эту милость, да ведь больно же, как оторвут от сердца, что к нему близко! Хоть бы исподволь это сделали, а то вдруг, как переехали от меня, как взяли из рук моих моего херувимчика, так уже и не дали мне ни разу взглянуть на него!.. Не позволили души отве-сти! Чуть было я не пропала с горя! Вот что река лилась, плакала месяца три!.. Ох, Матре-

на, Матрена! Тяжел твой ответ будет перед богом!..

Старуха горько рыдала, говоря эти слова. И Акулина отирала слезы передником, тщетно стараясь укрепиться, чтоб начать говорить обыкновенным голосом. Обе старухи предались горести, одна от истинной боли сердца, другая по сочувствию.

Пока старухи горюют и всхлипывают, графиня Тревильская неужели все еще дежурит за перегородкою? Неужели знатная, образованная дама слушает вранье и пошлые доверенности двух старых мещанок? Да! Дежурит и слушает; четверть часа уже, как она играет роль шпиона в этой пустой горнице, рискуя всякую минуту быть кем-нибудь усмотренною. Это уже из рук вон странность! Графиня сама это чувствует, краснеет от неприличности своего положения, зеваает от скучного разговора старух, но не может оставить своего притона; она и сама не понимает, чего ждет, что держит ее в этой каморке? Однако ж всякий раз, как хочет выйти, что-то как будто останавливает ее. Графиня остается, с беспокойством посматривает на дверь, в которую

вошла, и прилежно слушает не слова уже, но рюманье[8] старух.

Графиня наконец готова расхохотаться сама над собою и над сумасбродством, которое позволила себе в свои лета. Впрочем, таинственное заседание ее не совсем было напрасно: она узнала то, чего еще не знала, то есть что ненавидимая ею Федулова есть та самая некогда маленькая злобная девчонка, Матрешка, кормилицына дочь, за которую ее ставили в угол, лишая завтрака, и которая, пользуясь тем, что была сильнее и сверх того всегда права, отнимала у нее конфеты, игрушки, щипала ее и дергала за косы, не внимая плачу и не страшась никакого наказания! Узнала еще и то, что она с ней в близком родстве, то есть ее родная сестра по отцу; но этому последнему обстоятельству графиня не хочет верить. «О детях этого рода, — думает графиня, — и сама их мать не может наверное сказать, кто их отец. Матрена так же хорошо может быть дочерью какого-нибудь крестьянина, как и моего отца».

Наконец самоотвержение графини получило свою награду. Старухи порядком про-

плакались, и Акулина стала говорить:

— Полно, матушка Степанида Прохоровна, предоставь все господу богу, авось он и утешит тебя еще при конце дней твоих. Маша говорила мне, что Фетиньюшка была у тебя и как, дескать, полюбила она старушку. Теперь уже она будет похаживать к тебе.

— Ради бога, не проговорись дома, Акулинушка! Сделай милость, не отними у меня последнюю радость!.. Пока я не видела Фетиньюшки, так было уж и перестала грустить, а теперь... нет, оборони царица небесная, если теперь мое дитяtko ненаглядное не будет приходить ко мне — живая в могилу лягу!.. Уж что за красавица моя крошечка! Царевна! Ни дать ни взять царевна! Правду говорят, что бог сотворил человека по образу и подобию своему! Уму непостижима красота человеческая, когда уже она дойдет до своего верха! Придумать нельзя лучше лица, как лицо моей внуки милой!.. Что за глаза! Ну вот точно как солнцем светило на меня ими! А уста!.. Ну вот даже дышат розой, не только что цветом похожи!

— То правда, матушка Прохоровна, что

внука твоя красавица писаная, ну да и судьба ей будет по красоте... В доме у нас все говорят, что она выйдет за графа Тревильского, сына твоей молочной дочери, бывшей княжны Мазовецкой.

— В самом деле? О, милочка ты моя, благослови тебя господи! Как только она выйдет замуж, тогда уж я не погляжу на Матрену, тотчас пойду к моему херувиму ненаглядному; хоть за неделю до смерти, да нагляжусь на нее вдоволь!.. Когда же будет свадьба?

— Ну, о свадьбе-то еще нет ничего верного. Вот видишь, Степанида Прохоровна, молодой граф очень влюбился в Фетиньюшку, часто бывает у самой, такой вежливый, услужливый; за самую так и ухаживает; на Фетиньюшку, правда, только смотрит, ну да уж как смотрит, так вот так сердце и тает, чего-то в них нет!.. А она, милушка, потупит глазки да и зарумянится, что твой мак махровый... Один раз, что и за диво, Прохоровна, один раз сидели они двое в зале, сама-то вышла за чем-то на минуту; а я пришла звать девок обедать да и стала за стеклянного дверью, приподняла уголок занавески и смотрю, с кем сидит хо-

зьяйская дочь; в это время они оба смотрели друг на друга, не долго, так вот, как раз пять минут глазом, да зато уж как смотрели!.. Я навзрыд плакала, как пришла в кухню... Не жить им на белом свете, если их разлучат!

— Да кто ж их разлучит?

— Может быть, и не удастся разлучить. Сама-то очень хлопочет, чтоб эта свадьба состоялась, и уж, верно, сделает по-своему, только я думаю, что твоя молочная дочь, графиня Тревильская, не согласится и не даст сыну благословения на эту женитьбу.

— Так и не надобно идти против воли матери! Глупа Матрена, что сводит молодых людей, тогда как матери его это не угодно. Эка дура! Господи прости! Наделает она кутерьмы!

— Да таки наделает, Прохоровна! Я знаю стороною, что она подучает молодого графа жениться на Фетинье тихонько. Разумеется, она это не сама говорит ему, да уж у нее есть люди, которые работают за нее.

— Кажется, почему бы графине Тревильской не хотеть, чтоб моя Фетиньюшка была ее невесткою? Ведь никто не знает, что баб-

ка ее отпущенница княгини Мазовецкой. Отец — миллионер, воспитана она, как все знатные воспитываются; собою красавица такая, какой под солнцем не сыщешь другой! Чего ж бы еще хотеть графине Тревильской?

— Знатной породы, матушка Степанида Прохоровна! Знатной породы хочет и ищет твоя молочная дочь! Графиня горда чрезвычайно, нас, простых людей, не считает ни за что и говорит, что если б мещанин имел не только миллионы, но даже богатства великого Молоха,[9] то и тогда она не хотела бы породниться с ним!

Проговори это, Акулина с важным видом охорашивалась с полминуты, верно полагая, что, окрестя Могола[10] Молохом, она показала великую ученость; но как простодушная Степанида не обратила на это слово ни малейшего внимания и продолжала сидеть, подгорюнившись и покачивая седую головою, то и собеседница ее рассудила оставить претензии на отборные фразы и стала опять говорить просто:

— Ну так вот видишь, матушка, графине не надобно богатства никакого, а надобна

знатная порода; она сама барыня большая, и в роду ее все были графы да князья, может быть, лет тысячи двадцать назад.

— Что ж Федулов думает обо всем этом?

— Ничего; он не знает, что жена старается навести графа Тревильского на женитьбу с Фетиньей; однако ж хмурится, когда видит, что граф приезжает к нему, и, раскланявшись с ним, проходит прямо на половину к ней.

— На половину? Так моя Матрена живет на манер знатных дам; не дивлюсь теперь, что она отреклась от матери; простая старуха, да еще и отпущенница, много портила б ей в мыслях ее знатных знакомых.

— И, матушка! Не беспокойся; как не великатится хозяйка, а ни одна знатная дама к ней и не заглянет, а к себе-то уж и подавно не пригласит; к нам только и ездят из знатных одни мужчины, потому что Федот Федулович задает банкеты на славу; а на балы наши приезжают свои братья купцы с женами и дочерьми да кой-кто из мелких дворяночек, вот и все.

— Я не успела, да и нельзя было ни о чем расспросить мою глупую Зильбер, она торо-

пила от меня, проклятая, как будто от чумы, чтоб уйти поскорее. Каково живут Федуловы между собою?

— Хорошо; она делает что хочет; он во всем уступает; она бросает его деньги направо и налево, за все платит втридорога, несколько не торгуясь; он выдает деньги, не говоря ни слова; у нее карета не карета, платье не платье, шали не шали! Все заморское; жемчуга, бриллианты целыми коробками покупает и ни в жизнь не посоветуется с мужем, не спросится: «Позволишь ли, Федулович, купить вот это или это?» Куда тебе! Все деньги у нее, берет себе, сколько угодно. А уж как одевается!.. И не дай тебе бог, Прохорова, увидеть этого, не вытерпит твое материнское сердце, проклянешь ты ее: ведь совсем как... стыдно сказать... как голая! Плечи выставит на целые два вершка без платья, и спина чуть не вся!.. Бедный хозяин всякой раз хмурится, как она в таком виде проходит мимо него, чтоб садиться в карету... А еще как перетягивается шнуровкою! Что твоя молоденькая девочка!.. Как она не задохнется, такая толстуха!.. Я вот уж сухопарая старуха, а и тут как

подвяжу передник крепче, так и полчаса не выдержу... А она целые дни в тисках, да, кажись, ей и нужды нет... Одолела ее охота представляться знатною барынею! Ведь так и пильнует,[11] что как у них делается, так и она! Не белится, зубов не чернит, бровей не подводит карандашом, умывается себе просто водою да вытрет лицо каким-то кузмотиком,[12] и только: знатные, де, дамы никогда не пачкают лица ничем.

— Шнуруется! Ходит полунагая! В сорок пять лет!.. Отступился от тебя бог, Матрена!

Задолго до окончания беседы двух старых женщин графиня Тревильская вышла из своей засады. Карета ее летела по гладкой мостовой; близок уже был дом Орделинских; через четверть часа графиня будет в кругу всего, что так блистательно, так остро, так любезно; через час загремит музыка, разольется ослепительный свет, посыплются фразы, одна другой тоньше, острее, умнее, вежливее! Как ей управиться с собою? Как победить грусть, которую так полно ее горделивое сердце? Графиню поминутно овладевает задумчивость; беспрестанно мысль ее возвращается к тому,

что она слышала: хотя она стыдится, вспоминая, где и от кого она слышала то, что столько тревожит ее, однако ж невольно благодарит судьбу, что она открыла ей этот заговор вовремя. «Георг! неблагодарный сын! Тебе ли изощрять кинжал для сердца твоей матери!.. Скрываться! Стовариваться! Действовать заодно с презрительною тварью, с дочерью бывшей служанки! Желать унижить славный род свой супружеством с внучкою отпущенницы, и какой еще отпущенницы? Девки дурного поведения! Ужасно!»

Графиня забыла, что сын ее не знает того, что она узнала сию минуту, что он считает Федулову дочерью ярославского купца и слухам об угле совсем не верит, — забыла и горько попрекала на его неразборчивость.

Карета графини и коляска графа в одно время остановились у подъезда дома Орделинских. Мать и сын всходили на лестницу. Георг не переставая целовал руку графини, прося ее простить ему продолжительность его отлучки. Графиня не могла выговорить ни слова; сила чувств теснила дыхание в груди ее; нежность и покорность сына с воспомина-

нием того, что она слышала, едва не повергли ее в обморок; она готова была залиться слезами и броситься на грудь сына, умоляя его не отворять ей преждевременной могилы унижительной связью с отродием служанки. Однако ж сила характера благородной дамы была так велика, что она овладела своими чувствами, победила их, на покорные ласки и просьбы сына отвечала нежным поцелуем, ласковой усмешкой и словами: «Об этом после, милый Жорж!»

На доклад официанта: «Граф и графиня Тревильские!» — слышно было, как дряхлая Орделинская говорила едва понятными словами: «Проси, проси сюда прямо в уборную».

Граф остановился было в дверях; он увидел, что Целестина в прелестном пеньюаре сидит перед туалетом и ей убирают голову. Но старуха позвала его, говоря:

— Войди, дитя мое! Чего ты остановился! Тебе не запрещен вход в это святилище! Как он всегда мил у тебя, графиня! Целестиночка!оборотись, душенька! Вот граф Георг пришел присутствовать при твоём туалете. Пожалуйста, милый граф, прикажи убрать ее по тво-

ему вкусу... Ха, ха, ха! Покраснел, как монаштырка! Ну, ну, добро, садись подле туалета; Целестиночка расскажет тебе, сколько грандов подавали ей шпильки, цветы и булавки... О, в Мадрите долго будут помнить прекрасную Диану, одетую по-русски! Ха, ха, да! Представь себе, милая графиня, что мою Целестиночку при дворе гишпанском единодушно прозвали: *la belle Diane Moskovite. Majestueuse Diane Moskovite!*[13]

Между тем как старуха-княгиня говорила, хохотала, выхваляла внучку и приказывала принести разные редкие драгоценности, вывезенные из чужих краев, графиня с досадой и стыдом смотрела то на сына, который сидел подле уборного столика и не только что не смотрел на Целестину, но даже и не слышал, что она говорила ему, то на княгиню Орделинскую-мать, которая после первых приветствий села у окна и, казалось, ни о чем так мало не думала, как о том обществе, в котором находилась.

Наконец уборка головы кончилась. Целестина открыла коробочку, в которой лежала одна только нитка жемчуга, но такого, кото-

рому не могло уже быть равного. Она вынула ее и, приближая к глазам графа одною рукою, другою тронула его легонько за плечо, потому что граф был неподвижен, как статуя; мысли и душа его витали где-то далеко от уборной княжны Целестины Орделинской.

— Посмотрите, граф, вот жемчуг, который подарила мне королева и взяла с меня слово, что я надену его в день моей свадьбы; видали ль вы что-нибудь прекраснее?

Слово «свадьба» и прикосновение Целестины разбудили графа от его летаргии; но разбудили очень неприятно. Взгляд его холодно встретил бессмысленную улыбку румяных уст княжны, и вопрос ее: «видали ль вы что-нибудь прекраснее?», на который вежливый и остроумный граф мог бы отвечать очень лестным образом для Целестины, не получил теперь другого ответа, как одно равнодушное и совсем неуместное: «да». Графиня вся вспыхнула и, встретив насмешливый взор княгини-матери, совсем потерялась; однако ж, стараясь выйти из этого, столь нового и столь унижительного для нее положения и желая отвлечь внимание обеих княгинь от

четы, сидящей близ уборного столика, Тре- вильская начала делать очень оживленное описание минувшего гулянья. Но говорится же, что беда одна не приходит! Средство, упо- требленное графинею, вместо отдаления неприятности приблизило ее.

— Да, графиня, говорят, что это гулянье бы- ло блистательнейшее из всех, какие мы мо- жем помнить. И я слышала, что не было эки- пажа великолепнее кареты купчихи Федуло- вой и не было красавицы, равной ее дочери; правда это? Говорят еще, что наши молодые люди лучшего тона и первых фамилий в го- сударстве не отъезжали от окна ее кареты. Неужели и это также правда?

Графиня не вдруг нашлась, что отвечать; но старая Орделинская подоспела ей на по- мощь:

— И, мать моя! Ты уж чересчур строга! Ну что за диковина, что молодежь вертится пе- ред хорошеньким личиком! Девочка Федуло- ва таки точно недурна; немудрено, что лиш- ний раз проехали мимо ее кареты; может, кто-нибудь и ехал подле нее во все время гу- лянья, а вот мой милый Жорж так ехал подле

меня! Подле девяностолетней старухи! Не так ли, любезный граф!

Граф, совершенно наконец возвратившийся из области мечтаний в общество, его окружавшее, отвечал утвердительно, вежливо намекая, что занимательность ее разговора овладела до такой степени всем его вниманием, что отвлекла от всего другого.

— Да, да! — подхватила с торжествующим видом Орделинская. — Мы все время говорили о тебе, Целестиночка.

Граф решительно испугался, но, к счастью его, не было времени для старой княгини, чтоб одним шагом стать вплоть у цели. Когда она говорила, горничная приколотла последний цветок на голове Целестины, — уборка кончилась совсем, и все общество встало, чтоб идти в залы ожидать приезда гостей. Минут через десять начали греметь экипажи и останавливаться у подъезда; звонок возвещал неумолчно о непрерывно прибывающих гостях. Более часа гром экипажей не утихал; наконец гости съехались все. Оглушающий гром экипажей сменился согласным громом музыки; начался бал.

Тревильская подозвала к себе сына:

— Жорж, надобно быть кавалером Целестины весь вечер! Хочешь ты сделать это для меня? — В голосе и виде графини было нечто, чего граф не мог себе объяснить, но не мог также и вынести равнодушно; хотя быть кавалером Целестины в продолжение всего бала значило идти к одному концу с матерью и старой Орделинской; значило согласиться на союз, признать себя женихом, потому что кто ж, кроме жениха, может исключительно завладеть девицею на весь бал.

Однако ж Георг и подумать не смеет отказать матери в ее требовании; ему кажется, что при первом слове отказа графиня расстанется с жизнью тут же: столько видит он чего-то непостижимого в глазах ее, виде и голосе. Граф в знак согласия поцеловал руку матери и тотчас пошел к княжне.

Точно необходимо было приказание матери и сознание собственной вины перед нею, чтоб заставить Тревильского ангажировать Целестину, без этого никакое в свете приличие не заставило б его танцевать с девицею-гигантом. Для всех тех, кого интересова-

ло замечать поступки молодого Тревильского, было очень забавно видеть, как он краснел всякий раз, когда ему приходилось выступить на сцену с своей дамой. Хотя бездушная красота княжны Орделинской была все-таки красота, хотя огромная масса тела ее была самая стройность; но при всем том рост ее, целою четвертью превышавший прекрасный высокий рост графа, приводил этого последнего в невольное замешательство; ему было ужасно неловко всякий раз, когда он скользил по паркету, держа за руку княжну, он не смел поднять глаз не только на свою даму, но и ни на кого; ему казалось, что на каждом лице увидит он насмешливую улыбку; сверх того он слышал, как говорили вокруг него: «Вот прелестная великанша!» — «Издали она точно восхитительна!» — «Да, только издали. Но ни любовником, ни кавалером ее в танцах быть не лестно». — «Разумеется! В обоих случаях будешь смешон и себе и другим!» — «Правда, правда!» — «Жаль, что она так велика!» — «Скажи лучше, жаль, что она так хороша». — «Ну, об этом нечего жалеть; красота ее под стать ее росту». — «Как это разуместь?» —

«Очень просто: и то и другое хорошо только для статуи».

Такие разговоры не способны были улучшить положение бедного графа, ни расположить его к вежливому вниманию к своей даме, беспрестанно ему что-то говорившей. Сверх всего этого графиня, не спускавшая глаз с него, заметила, что он беспрестанно смотрел на дверь и всякий раз, когда она отворялась, вздрагивал и приходил в видимое беспокойство.

Была уже половина второго часа; гости перестали съезжаться, не слышно экипажей, с громом подкатывающихся к подъезду; звонок замолчал. Краса и веселость бала достигли своего верха; гремит мазурка, все кипит жизнью, все блестит, все цветет, все усмехается, все в восторге! Юность в своей стихии! Живет двадцатью жизнями в один миг.

Среди всеобщей безотчетной радости один граф сидит пасмурный подле Целестины и радуется только тому, что, будучи в последней паре, не так скоро выйдет на сцену со своим Голиафом[14] и сверх того имеет время обдумывать дело, его беспокоившее. Но как

всякое дело и всякое обстоятельство имеет свой конец, то и работа всех пар, составляющих мазурку, кончилась; настала очередь графу выступить на сцену со своею дамою; уже предпоследняя пара села на место, уже граф с удержанным вздохом встает, берет Целестину за руку, хочет что-то сказать ей, вдруг гремит карета, катится, останавливается у подъезда, звонок ударяет два раза, отворяются дверей обе половинки, входит — Федулова с дочерью.

Вид их произвел действие Медузы[15] на графиню: она окаменела от удивления; ей казалось, что представление света в эту ночь было б гораздо естественнее, нежели появление Федуловой в доме княгини Орделинской.

Граф, только что начавший было небрежно скользить по паркету, увидя прибывших, затрепетал, бросил руку княжны, сделал два шага к Фетинье, но, вдруг опомнясь, воротился, пробормотал какое-то извинение, которое Целестина приняла с тою же нарисованною усмешкою, с которою принимала все, что ей кто говорил. Граф продолжал начатый тур, но уже не с той неподвижностью физиономии и

пасмурностью взора, теперь лицо его сияло радостью, которую он видимо старался скрыть или хоть умерить, но не мог успеть ни в том, ни в другом; он сделался любезен, развязен, сказал много приятного Целестине и оставил ее в ту же минуту, в которую кончилась мазурка.

Ни строгие взгляды матери, ни неблагоприятный шепот старых дам, ни насмешливая и презрительная мина графини Орделинской, матери Целестининой, не удержали графа подойти к Фетинье и просить ее на следующий танец. Это была опять мазурка.

Сама зависть замолчала минут на пять, когда Тревильский повел свою даму на место и когда начал этот чарующий танец, сотворенный для юности и красоты. Столь прелестной четы, каковы были граф и Фетинья, не могло и само воображение представить, особливо девица была прекрасна выше возможности описать ее. Итак, зависть замолчала; но, боже мой, как засвистали змеи ее, когда прошли пять минут ее невольного изумления!

— Старуха Орделинская, видно, стала из ума выживаться: к чему это она пригласила

мещанку в наш круг?.. Богата! Так что ж?

— Ну, оно не худо, богатство, только надобно б употреблять его приличнее — например, толстая Федулова была б очень красива, когда бы унизалась жемчугом с ног до головы; наде-ла б перстней бриллиантовых на все пальцы до самых ногтей... Почему не так? У нее сотни тысяч беспереводно! Прекрасно и благоразумно поступила бы, если б в именины мужнины, свои или другие случаи семейные делала праздники пышные, роскошные, обеды, балы, ужины на славу, но только на славу купеческую. То есть с целью угостить, доставить удовольствие знаменитым гостям своим, а не с тем чтоб затмить, блеснуть, ослепить, уни-зить их! А то вообразите, что затевает всякий раз, как дает пир какой...

— Да что тут до того, как она кормит, чем кормит и на чем кормит? У нее всегда собра-ние одних мужчин, а они мало обращают внимания на ее пышность и изысканность; на это пусть бы она разорялась как угодно; но, по моему мнению, нельзя простить расточительности на такие вещи, на которые она ничем никакого права не имеет! Вот, по-

смотрите на нее, может ли что быть дороже, изящнее, прелестнее ее наряда? Посмотрите на ее склаваж,[16] диадему, фермуар, пояс, браслеты, — все это выписано из Парижа, все это самой высокой работы, изящного вкуса, и все это из самых лучших бриллиантов! Взгляните на ее ток[17] или берет! Это ведь прелесть, от которой нельзя глаз отвести! Если и можно простить ей подобную роскошь, так только потому, что все эти прекрасные вещи на ней теряют свою цену. Ее грубое, лоснящееся лицо, толстые руки, неуклюжесть всего корпуса и неловкие движения выказывают ее тем, что она есть, и блистательный наряд не введет никого в заблуждение — почтеть ее знатною дамою; но что я считаю дерзостью, переходящею все границы, так это то, что она одевает дочь свою как принцессу крови! За это я затворила бы ей дверь моего дома навсегда, если б была на месте княгини Орделинской.

— А ведь на первый взгляд ее Фетиньюшка покажется одетою очень просто: одно только белое платье и бриллиантовая нитка в волосах, на шее нет ничего; браслеты тонень-

кие золотые, поясная пряжка тоже просто золотая без камней; перстней и колец ни одного; серьги не что иное, как тонкие колечки золотые! Ну, одним словом, все так просто кажется, а как хитро между тем! Видите вы эту повязку бриллиантовую на голове, как будто род венка, сходится на затылке; видите, как она закрыта кудрями? Ведь уже, верно, для того, чтоб между черными волосами блеск бриллиантов был заметнее и заманчивее.

— А между тем и та выгода, что припишут это скромности.

— Право, не припишут, нынче мудрено обмануть кого б то ни было притворною скромностью.

— А какие, однако ж, бриллианты! И что за отделка непостижимая! Знаете ли, чего стоит вся нитка?

— Тысяч сто, не менее.

— Что вы это! Помилуйте! Неужели вы думаете, что сумасбродная Федулова считает за что-нибудь сто тысяч, если дело идет о том, чтоб затмить и превзойти великолепием знатных, которых она, как обезьяна, со всевозможным тщанием копирует день и ночь?

Худо вы знаете ее!.. Миллион, ровно миллион стоит нитка бриллиантов на голове Фетиньи, и девчонка, о сю пору уже хитрая кокетка, сейчас постигла, что даст им более цены, если сделает вид, будто хочет скрыть несколько их непомерный блеск.

— Какая цель всех этих проделок?

— Известная: старая Федулова только тем и дышит, о том день и ночь думает, чтоб выдать дочь за графа или князя.

— Вот как! За чем же дело стало? У нас много князей, которые очень охотно дадут титул сиятельства ее Фетиньюшке, не только за эту нитку бриллиантов, но даже и за один из них.

— Я то же думаю и очень удивляюсь, почему никто не попробует своего счастья в этой лотерее.

— Извините! Я не вашего мнения, Федулова не будет так благоразумна, чтоб отыскать какое-нибудь стоворчивое сиятельство, присоединить его к несметному богатству своему и окружить всем этим блеском и счастьем дочь свою. Нет! Она непременно хочет породниться с высшим дворянством, не заботясь,

что оно этого не хочет.

— Я думаю, она останется при одном желании.

— Ну, нет! Легко может быть, что мы услышим, и очень скоро, возглас у подъезда театра или другого какого этого же рода места: «Карета графини или княгини (такой-то) готова!» И в то же время увидим, что в эту карету с пышными гербами и коронами впорхнет милостивая Фетинья.

— Разве есть какое основание подобной догадке?

— Да, и очень прочное. Всмотритесь хорошенько в лицо графа Тревильского да также взгляните и на его гордую матушку. Видите ли, как худо повинуются ей глаза ее и цвет лица? Видите ли, какая тревога, стыд и досада изображаются в первых и как быстро и беспрерывно меняется последний? Заметьте восторг, совершенное забвение всего, что не она, которые поглотили, так сказать, молодого Тревильского! Посмотрите, пожалуйста! Это становится сценою, спектаклем! Это любопытно до бесконечности!

И в самом деле, Георг, в первый еще раз

видевший Фетинью вместе с девицею Орделинскою, принял твердое намерение отказаться от союза с княжною и, чтоб ознакомить мать свою с возможностью этого разрыва или, лучше сказать, с неизбежностью его, он не скрывал предпочтения, какое делал Фетинье. Граф не видел (то есть умышленно не видел) ни беспокойства своей матери, ни презрительных взглядов княгини Орделинской-матери, ни насмешливых мин некоторых знаменитых красавиц (бывших); ничего этого не видел молодой Тревильский и всею душою отдавался очарованию смотреть в прекрасные глаза своей милой Федуловой и говорить ей вполголоса все, что только внушало ему плененное сердце его.

В это время мазурка была в величайшей моде и считалась самым грациозным танцем, тем более что знатоки и аматеры[18] танцевального искусства оставили ему одни только его приятности, а шум, стук и размашистые прыжки осудили на вечное изгнание. Итак, мазурка модный танец, и точно как теперь пятьдесят раз в вечер протанцуют французскую кадрили, точно так тогда чаще всего

являлась на сцену мазурка. Сообразно с этим господствующим вкусом раздалось снова: «Dziabet Komu do tego...».[19] И вот старая Орделинская подзывает свою внуку и спрашивает, где ее кавалер.

— Я еще не ангажирована, ma grande mere!
[20]

— Да на что ж тебя всякий раз особенно ангажировать? Ведь граф Георг твой кавалер на весь вечер.

Целестина не имела времени отвечать; к ней подлетел какой-то улан, и она оставила бабушку свою протирать глаза от удивления, потому что перед нею рисовалась уже прелестнейшая пара из всего бала: Георг и Фетинья; они а *pas glissants*[21] пролетели мимо княгини, как два светозарные гения.

Старая княгиня не могла прийти в себя: «Что ж это значит? Не сошел ли с ума граф Тревильский? С чего он взял предпочесть эту мещанку княжне Орделинской! Это глупость от него еще первая, но зато уж и мастерская! Каково выдумал: оставить без внимания знатную девицу, почти уже невесту свою; взять мещанку, да еще и в первую пару! Он

помешался! Решительно помешался!»

В самом деле, Тревильский возбудил против себя негодование всех дам:

— Федулова в первой паре! какая дерзость! Эта Федулова имеет наглость быть так прекрасною, что не только нельзя затмить ее, но даже и сравняться с нею нет никакой возможности, и ко всему этому обладает сатанинским искусством так одеваться, как никому и никогда не может прийти на мысль. Тонкая кокетка! В такие лета, и уже столько соображения, столько утонченности! Кому б пришло в голову закрывать кудрями бриллиантовую нитку? Да еще какую!

— Что до этого, то пусть бы она хоть вся, с ног до головы, унизалась бриллиантами, но это не дает еще права на предпочтение; за это не следовало бы графу ставить ее в первую пару, тогда как с начала бала он танцевал с княжною в последней паре! Странно, право, как это нынче все сходит с рук этим ветреникам! В наше время несравненно строже наблюдалось приличие!

— Взгляните, пожалуйста, как они блаженствуют! Можно держать пари на что угодно,

что эта мазурка окончится вместе с балом; видите, как сделался изобретателен молодой Тревильский, фигура за фигурую так и летят! И все какие замысловатые! Все с целью: каждая требует времени; а как он в первой паре, то, пока дойдет до последней, ему-таки довольно времени высказать своей даме все то, что придет на мысль.

Тревильский, казалось, нарочно хотел вывести из терпения мать свою и старую княгиню Орделинскую, потому что с величайшим злоупотреблением пользовался своим правом первой пары. Более часа уже продолжалась мазурка; молодые люди совсем не досадовали на это: на долю каждой пары доставался такой длинный антракт; а известно уже всем, когда-либо танцевавшим мазурку, что он даром не теряется.

Графиня, разрываясь от досады и поминутно покушаясь подойти к сыну, сказать, чтоб он кончил свой бесконечный танец, вынуждена была воспрепятствовать сама себе сделать эту неизвинительную глупость тем, что ушла в уборную старой княгини под предлогом кружения головы. Сев на диван и поддер-

живая голову рукою, графиня минут пять уже занималась придумыванием способа поправить дело, так видимо портящееся, как вдруг дверь отворилась и вошла старая княгиня Орделинская.

— Кажется, сынок твой, милая графиня, сегодня не в полном уме! Неуважение его к моему дому переходит все границы!.. По милости его на меня смотрят с насмешливым любопытством! Да, правду сказать, как и не смотреть, всякому хочется видеть, какую мину имеет княгиня Орделинская тогда, как нареченный жених ее внуки при глазах этой последней ухаживает за мещанкой и расточает ей всевозможные угождения? Я должна быть для них очень забавна!.. Ну что ж, графиня? Говори, ради бога, влюблен твой сын невозвратно, или это просто одно дурачество? Я не хотела б рисковать счастьем моей внуки.

— Не знаю, княгиня, не знаю! Не спрашивайте! Я не могу опомниться, у меня голова идет кругом от сегодняшнего вечера! Но скажите мне сами, на какой грех пригласили вы эту крестьянку с ее дочерью? Я даже и не знала, что вы знакомы с нею; ведь известно, что

она в нашем кругу не принята.

— Это сделалось случайно; сын мой занимал деньги у Федулова, и вежливый купец привез сам эту сумму; я в это время была в кабинете сына. Упредительность добродушного Федулова так мне понравилась, что я спросила его о семействе, изъявила сожаление, что мы еще не знакомы, я просила привести их на мой бал, никак не воображая, что добрый человек примет это за настоящее желание видеть у себя его полновесную супругу и смазливую дочку, и, признаюсь, была очень неприятно удивлена, когда они вошли; мне стыдно было смотреть на мою невестку: ее изумление, неловкий вход самой Федуловой, ее смешная рекомендация чуть было не сделали сцены; к счастью, невестка моя нашлась сказать ей холодно: «прошу садиться» — и оставить на все остальное время без малейшего внимания; но дело не о том теперь, графиня! Не будем обманываться и не будем несправедливы: красота Фетиньи точно не имеет себе равной, и если сын твой считает неравенство породы химерою, то он пропал для моей Целестины; будь уверена, что он же-

нится на дочери Федулова.

— Прежде ему надобно будет проводить меня в могилу! Не думаю, чтоб сын мой захотел быть моим убийцей! До сего времени он любил меня и во всем повиновался. Я еще не отчаиваюсь, княгиня! Он не до такой степени философ, чтоб власть матери и ее согласие считать за ничто.

— Ну, хорошо, графиня! Действуй, как найдешь за лучшее; я ничего так не желаю, как отдать мою Целестиночку твоему Жоржу... Бесценная моя княжнушка! Я думала, она рассердится, что твой ветреник вертится около Фетиньи; ничуть не бывало! Мой агнец неповинный все так же мило улыбается, как и всегда; нет и тени неудовольствия на этом покойном, кротком лице.

«Бездушном, — подумала графиня. — О Георг! Надобно, чтоб ты был примерный сын, когда из любви ко мне будешь мужем Целестины! Целестина и Фетинья! Статуя и прелестный гений света, полный жизни! Несхватчивая[22] старуха! Вздумала приглашать так слегка! Да Федуловой и не надобно более... Она рада случаю попасть каким бы то

ни было образом в знатный дом. Ей только этого и надобно было; и я уверена, что теперь эта баба получит тьму приглашений именно для того, чтоб расстроить свадьбу — давний предмет моих желаний и стараний! Да, теперь они наперерыв будут доставлять случай моему сыну сравнивать княжну Орделинскую с дочерью мещанина!»

Размышления Тревильской были прерваны дружескою ласкою княгини; она обняла ее:

— Полно, милая графиня! все еще уладится; что много думать! Это просто одна ветренность; Целестиночка ею не обижается, так и мы простим; нет ничего хуже, как придавать чему-нибудь важность, тогда оно в самом деле становится чем-то значащим. Всего лучше не замечать. Пойдем к обществу.

Обе дамы возвратились в залу и нашли все в том же виде, как оставили: мазурка еще продолжалась; Целестина вместо досады, что Тревильский в восторге, вторила ему как нельзя лучше в изобретении разных премудростей мазурочных. Группы дам то там, то сям почти хохотали при виде необыкновен-

ной веселости княжны; молодые мужчины сожалели, казалось, что Тревильский позволяет себе столько явных глупостей; Сербичский, танцевавший тоже в этой нескончаемой мазурке, тщетно выжидал, чтоб граф взглянул на него; он хотел каким-нибудь знаком его образумить; но Жорж смотрел только на Фетинью, которой казалось, что они танцуют не более четверти часа.

При таком положении дел трудно было старой Орделинской остаться твердою в своей решимости не считать за важное поступок графа. Она приказала сказать музыкантам, что, как только последняя пара кончит свой тур, в ту же минуту перестать играть. Графиня была близка к обмороку. По счастью, Федулова, воображая, что она скопирует в точности знатную даму самого высшего тона, если уедет до ужина, отправилась тотчас по окончании танцев. Княгиня не просила ее продолжать знакомство, но эта холодность хозяйки была с избытком заменена ласками и приглашениями многих знатных дам. Графиня была права: как пропустить случай повредить, расстроить? Целестина была первая невеста по

знатности рода и богатству, Тревильский завидный жених по происхождению, прекрасной наружности, отличному воспитанию и, наконец, тоже по богатству. На что ж допускать соединиться стольким выгодам вместе, когда есть возможность расстроить все это? А сверх того, сколько сцен будет! Сколько предметов для разговора! Как любопытно следить за ходом всего этого и как любопытно тоже видеть, долго ли Целестина будет улыбаться.

За ужином Тревильский был очень любезен, внимателен к княжне. Он не сел за стол, но по временам стоял за стулом Целестины и смешил ее описанием странностей разных лиц, тут же присутствующих, иногда уходил с Сербицким в зал, где уже никого не было, и, поговоря с ним минут пять, опять возвращался на свой пост — к княжне Орделинской. Графиня не была обманута этою проделкою; она читала в сердце своего сына. Но старая Орделинская таяла нежностью, смотря на Целестиночку, улыбающуюся миловидному графу.

— Какая чета, милая графиня, — говорила она почти вслух, — какая прекрасная чета! Милые дети! Как они заняты друг другом, не

правда ли? Не правда ли, что они сотворены один для другого?

Графиня притворилась, что не слыхала этого вопроса; не могла она вопреки истине согласиться с княгинею.

Наконец мучительный вечер прошел. Утомленные гости отправились по домам. Тревильский пожал руку Сербицкому, сказав ему на ухо: «В девять часов я у тебя». После этого он свел мать свою с лестницы, сел с нею в карету и, чтоб избежать объяснений, которые были необходимым следствием поступков его на бале, притворился утомленным, дремлющим и даже заснувшим. Пришед в свою комнату, он выслал камердинера, приказав ему ложиться спать. Писал часа полтора; после этого сошел в сад, походил с полчасца, чтоб освежиться. Наконец возвратился в комнату и, приведя в порядок все свои бумаги, письма, стихи, рисунки, совершенно, однако ж, без нужды, а только чтоб чем-нибудь занять время до семи часов. Услышав бой этого желанного числа часов, он поспешно сошел вниз и отправился в конюшню седлать свою лошадь, чрезвычайно радуясь, что ку-

чер не слышит этого; хотя он, однако ж, все сделал и видел, как то видно было из донесения его графине.

Итак, граф уехал в семь часов, а графиня пошла спать в ожидании его возврата. Но вот уже и четвертый час пополудни — графа нет! Графиня сказала, что обедать не будет. Компаньонка и прочий причет[23] сели за стол одни и пообедали молча и грустно. Наступил вечер — графа нет! В другое время это ничего бы не значило: граф мог уехать прогуливаться, быть приглашен кем-нибудь на завтрак, уехать на дачу обедать, пробыть целый день и даже два, и все это ничего, все это очень обыкновенно и часто бывало; но теперь! После вчерашнего бала! Это обстоятельство не кажется уже обыкновенным графине, напротив, она предчувствует беду; она приходит в ужас!.. Хотела б послать искать графа, но куда? Кто знает, куда поехал он? Графиня с трудом удерживает слезы; беседа компаньонки ей в тягость, она отослала ее и, мучимая непонятною тоскою, идет на половину сына своего; ей хочется взглянуть на все, что окружало

его! Притронуться к вещам, которые были у него в руках, сесть на диван, на котором он сидел! Одним словом, графиня идет в комнаты графа с такими чувствами, как будто она навек его лишилась и должна жить одними только воспоминаниями.

Первое, что представилось графине при входе в его гостиную, была записка, незапечатанная и положенная на колени бронзового амура, пробующего острие своей стрелы. Кажется, граф не сомневался, что мать его придет к нему в комнаты: если б записка этой назначено было перейти через руки лакея, то, верно, соблюдено было бы приличие, она была бы запечатана, адресована и положена просто на столе, а не на колени амура. Итак, граф знал, что графиня придет к нему. Это же подумала и Тревильская, и мысль эта была бальзамом целительным больному сердцу ее. Она взяла записку.

Вот ее содержание: «Милая маменька! Не гневайтесь, я оставляю вас на целые две недели. Сербицкий пригласил меня на дачу, мы будем с ним ездить на охоту и сделаем посещение баронессе Лохвицкой. У нее будет ка-

кое-то трехдневное празднество, именины, кажется, ее трех дочерей или что-то похожее на это. На коленях целую ручки моей милой маменьке». Подписи нет. Но ее и не надобно; успокоенная графиня прочитывает несколько раз записку, называет Георга шалуном, ветренником. Но вид ее весел, сердце покойно. Графиня приказывает подать к чаю поболее сухарей и пораньше готовить ужин.

Вечная, но любимая нами обманщица наша — надежда заставляет графиню думать, что опасения ее были неосновательны, что граф мог быть в домике Степаниды с целью невинною и благородною: известно, сколько он благодетелен. О близком родстве ее с Федуловым ему нельзя знать, они тщательно скрывают его от всех; а что вместе с ним вышла какая-то девка? «Фи! Как можно мне хоть минуту думать об этом». Прилежное ухаживанье за Фетиньей на бале Орделинских легко могло быть следствием какой-нибудь размовки между ним и княжною. Может быть, он хотел досадить ей: «Ветренник, и не подумал, что вместе с этим досаждаю и мне». Графиня боялась остановиться мыслью на невоз-

возможности иметь с Целестиной какую бы то ни было размолвку. «Теперь я вижу, — продолжала она говорить сама с собой, — что встревожилась напрасно! Вот теперь он поехал на дачу К***, там тоже три девицы, молодые и прекрасные, если б он был влюблен в Фетинью, так не поехал бы на столько времени в общество дам, опасных для нее...» Графиня всю силу воли старалась оттолкнуть досадную мысль, что для Фетиньи нет дам опасных; что она сама опасна всем им, а более всего вечно улыбающейся колоссальной княжне Целестине Орделинской.

Наконец графине удалось управиться со всеми бунтующими силами своего воображения: она уверила себя, что все сделалось случайно, без важных причин, что посещение домика Степаниды и лишняя внимательность к Фетинье — такие два обстоятельства, о которых не стоило и думать. «Впрочем, если б грозило уже такое несчастье, что Георг захотел бы жениться на Федуловой, тогда мое открытие остановит его; не унижится он до того, чтоб войти в родство со слугами: в деревнях моих есть близкие родственники Степани-

ды».

Две недели прошло, но граф не возвратился; он писал к матери, что как настало уже время разъезжаться по дачам, то он и не видит надобности приезжать в город на какой-нибудь день или два; но что приедет уже прямо на дачу.

Получа это письмо, графиня имела новую причину радоваться, что сын ее так мало думает о Фетинье. Через неделю она уехала на дачу.

В продолжение этого времени ничего заметного не случилось, исключая, что Федулов отправил дочь свою в дальнюю северную губернию к ее родному дяде, тоже купцу и тоже Федулову, хотя не так богатому, однако ж и не бедному. Это сделалось вдруг; и слухи носились, что мать Федота Федуловича перед последним концом своим хотела непременно видеть внучку и писала к сыну, чтоб он прислал ее. И вот отец Фетиньи собрал ее и отправил в один день. Маша поехала с нею. Замечали еще, что со дня отъезда дочери Федулов постоянно был холоден с женою, которая хотя и казалась несколько обеспокоенною

этим, однако ж не унывала, наряжалась по-прежнему и копировала знатных до самаго ближайшего обстоятельства. Разумеется, что в таком случае она не могла оставаться в городе и тоже отправилась на дачу.

В половине июня граф возвратился к своей матери. Графиня, обрадованная возвратом милого сына, не хотела нарушать своего семейного счастья разговором об Орделинских: хотя она и думала иногда, что граф может иметь склонность к Целестине, но чаще уверялась, что княжна сотворена удивлять — в юности и пугать — в старости; но нравиться — никогда, никому и ни в какое время.

Поспешный отъезд Фетиньи в провинцию к дяде был событием незаметным для высшего круга. О нем нигде и не говорили, исключая, однако ж, молодых людей и молодых девиц. Первые сожалели, что лучший цветок пересажен в землю далекую; а последние радовались, что некому затмевать красоты их. При девице Федуловой они все казались равными, но теперь появились степени красоты, и прекраснейшие были очень довольны, что закат яркого солнца возвратил блеск звездам.

Итак, графиня живет на даче и ни слова с сыном об Орделинских. Княгиня живет с семьей на даче и тоже предоставляет все времени, то есть до наступления осени; изредка только посматривает на княжну-исполина, в раздумье качает головою и зовет внучку просто: «княжна», иногда: «Целестина, друг мой!», но никогда уже: «Целестиночка». Федулова живет на даче с госпожою Зильбер (которая не поехала с Фетиньей, бог знает уже, добровольно или Федулов не позволил; об этом никто ничего не знал), живет точь-в-точь так, как живут знатные дамы. Ей ведь нет другого занятия, как копировать свои образцы.

Настал июль; пора жары, купанья, мороженого, лимонадов со льдом, чаю в одиннадцать часов вечера. Все употреблялось, как водится и будет водиться. Граф ездит каждую неделю в город: дом графини поправляют, то есть снова штукатурят снаружи, да еще внутри идут важные переделки; к половине, занимаемой графом, прибавлено много комнат. Графиня все-таки не может расстаться с мыслью женить сына; итак, надобно приготовить

для его семейной жизни комнаты со всеми удобствами. Графскую половину всю переделывают и убирают великолепно: это будет чертог. Графиня в шутку сказала: «Позаботься, Жорж, чтоб уют твоего будущего семейного счастья был по твоим мыслям». И Жорж, поцеловав руку матери, тотчас отправлялся в город и точно с большим участием толковал с архитектором и другими, от кого зависело расположение и украшение комнат. Иногда граф оставался в городе дня на три сряду, приезжал к матери на один день, давал ей подробный отчет в работах и уезжал опять на несколько дней.

Графиня от часу становилась покойнее и от часу более уверялась, что тревога ее материнского сердца была напрасная: что ее Жорж никогда не любил Фетиньи. Вот ее нет, она уехала, может быть, там выйдет замуж, а он нисколько не грустит, весел, как и всегда; скрытной печали предполагать нельзя: лицо его цветет здоровьем... Есть какая-то томность в глазах, но ведь это красота и совсем не признак грусти; мой Жорж пленителен в минуты, когда томность эта смягчает обыч-

ный блеск его прекрасных глаз.

Прошло лето, настала осень, пасмурный сентябрь! Кончились работы в доме графини Тревильской; но ей надобно еще прожить на даче недели две лишних, пока комнаты графа хорошенько просохнут и все приведется в должный порядок. Прошли и две недели; все готово, остается переехать и снова водвориться в городе: снова ездить на балы, собрания, концерты, в магазины; спать до полдня, смотреть на мелкий дождь, слушать городские новости; одним словом, жить, как и прежде. Завтра отправится графиня, но граф едет сегодня. На вопрос: «Для чего не вместе?» — отвечает, что еще не отданы деньги работавшим и что он хочет сделать это сам.

— Много, много благодарен вашему сиятельству! Теперь, по милости вашей, работа моя кончена навсегда; поеду домой и буду торговать. Дай вам бог здоровья и счастья на всю жизнь!

Так говорил один из работников, кланяясь графу в ноги.

Осматривая вновь отделанные комнаты сына своего, графиня была в непрерывном

восторге.

— Сколько вкуса, — говорила она, — какая изящность во всем! Это замок феи! Среди такого великолепия, неги и роскоши, милый Жорж, грех жить одному; подумай об этом! Присоедини к тем радостям, которыми ты красишь жизнь мою, еще одну и величайшую: женись; пусть я вновь расцвету в твоих детях.

— Все будет по-вашему, милая маменька, — говорил граф, с нежностью целуя руки матери, — все будет по-вашему, но только дайте мне время.

Разговоры эти повторялись часто. Иногда графиня говорила:

— Дать тебе время! Но ведь оно-то и дорого, Жорж! Его-то и не надобно упускать; правда, что оно приводит многое; но сколько ж и уносит! Великий боже! Не оно ль отнимает нашу красоту, силу, здоровье, богатство! Наши черные локоны, румянец, блеск очей, полноту, живость, радостный смех, милые затеи! Все, все берет у нас то время, которого ты не перестаешь просить у меня. Ах, Жорж! Кто поручится тебе, что я дождусь того дня, в кото-

рый ты решишься исполнить мое желание!

Когда разговор графини принимал такой оборот, граф изменялся в лице, слезы навертывались на глазах, он целовал безмолвно руки своей матери и уходил поспешно. Весь тот день он бывал грустен. Чаше, однако ж, совет графини — скорее жениться имел последствия веселые: графиня хохотала, называла сына шалуном, драла легонько за ухо и, смеясь, оставляла разговор, который никак нельзя было продолжать с приличною важною: граф уверял мать свою, что так рано он не смеет сделать ее ни свекровью, ни бабушкой.

— Поверьте, милая маменька, что оба эти названия вам еще не к лицу; никто не поверит, чтоб вы занимали уже эту грустную степень в жизни человеческой: свекровь! бабушка!.. О боже, мне кажется, что с этими двумя именами неразлучны: седые волосы, толщина, солидный чепец, очки и — трясущаяся голова!.. Да сохранит же меня бог предполагать все это в вас, посмотрите сами!

Граф обнимал мать свою и подводил ее к зеркалу; графиня смеялась, называла сына

ветреником, повесой, но к зеркалу подходила с удовольствием: хотя ей было сорок шесть лет, но она была еще очень свежа и сохранила из красоты своей то, что долее противится времени: глаза ее все еще были прекрасны, физиономия благородна и усмешка пленительна. Если прибавить к этому, что графиня была ветрена, то неудивительно, если этот способ из всех употребляемых сыном для отдаления рокового события — женитьбы был самый успешный и доставлял графу спокойствие иногда месяца на два и более.

Круг графининых знакомых, так усердно приглашавший Федулову на свои балы, рауты и собрания запросто, в человеколюбивой надежде расстроить союз Тревельских с Орделинскими, видя, что он и сам собою готов разрушиться, бросил и думать о бедной обрадованной купчихе. Нельзя представить, как велики были ее стыд и замешательство, когда, приехав то к той, то к другой, везде получила ответы: «Не принимает».

Зима была уже в половине; близился новый год; со дня отъезда Фетиньи прошло более полугода; редко кто вспоминал о ней не

только из дам лучшего тона, но даже и молодые люди, которых восхищала красота ее и заставляла учащать на банкеты Федулова; даже и они давно уже посвятили угождения свои другим и о девице Федуловой вспоминали тогда только, когда речь заходила о знаменитых красавицах, да еще если хотели помучить графа Тревильского. Одна только старая Степанида думала день и ночь о своей милой внучке. Горе ее делила с нею давняя приятельница Акулина, и всякий раз после ее посещения и продолжительного разговора старуха долго стояла на коленях перед иконою богородицы, молилась и плакала.

Но что ж значит этот веселый и беззаботный тон, который так постоянно сохраняет со всеми граф Тревильский? В самом деле, забыл он Фетипью? Никогда не любил ее? Но что ж значили поступки его на бале? В чувствах его тогда никому нельзя было ошибиться: он дышал любовью. Отчего ж теперь так покоен, когда его любезную увезли от него в средину холодного севера?.. Чего ж другого ждать от этих ветрогонов? Загорятся, как порох, напроказят, расстроят лучшие планы своих родных

и после двух недель отчаянных сумасбродств все забудут и утихнут, а дело между тем испорчено невозвратно. «Да, на Орделинской теперь ему уже не жениться». — «Я думаю, он этого только и хотел». — «В таком случае, не для чего было делать столько глупостей». — «С Тревильскою нельзя иначе. Ее надобно побеждать ее же оружием». — «Эх, полноте, вы не то говорите; Орделинские рады были случаю отказаться: матери Целестины очень не нравился этот союз, и она заставила мужа обратить внимание на явную холодность Тревильского к их дочери: теперь оба семейства почти никогда не видятся».

Из всех этих толков последнее заключение было справедливо. Со дня бала между старой Орделинской и графиней Тревильской вкралась холодность, недоверчивость, а затем последовало и отчуждение; свидания их от часу становились реже, разговоры принужденнее, и, наконец, к половине зимы оба семейства совсем прекратили всякие сношения между собою.

Прошло три года; о Фетинье слуха нет. В высшем кругу давно забыли, что она суще-

ствовала. В среднем иногда говорят о ней, что будто она живет в Кунгуре; другие утверждают, что в Иркутске у дяди; иные слышали, что она в Омской крепости замужем. Всякий слух отодвигал ее все далее к Камчатке.

В семейном быту Федулова в эти три года многое изменилось, также и внешние дела его взяли другой оборот: торговля его упала; одна из неудачных спекуляций лишила его половины капитала, и с того времени неудачи пошли вслед за неудачами; причиною этого полагали нерадение, в которое Федулов впал после отъезда дочери; говорили, что с того дня никто не видал его веселым, и богатство начало видимо таять. Федулова перестала шнуроваться и понемногу перестает копировать знатных дам; особливо с того времени, как она, желая вытереть лицо каким-то кузмотиком, как говорит Акулина, вытерла его крепкою водкою и испортила до ужаса; с этого несчастного дня она приметно начала отставать от всех прежних привычек: перестала наряжаться напоказ, не разъезжала повсюду, не покупала все, что понравится, и даже в ней начали открываться и добродетели: она

продала на большую сумму дорогих вещей, камней, жемчуга и вырученные деньги секретно положила в мужнину кассу; правда, что Федулов, увидя это приношение, поспешно и с досадою выбросил его на пол, но бедная Матрена так горько заплакала и так жалобно просила простить ее, что он поднял деньги и опять положил к своим, но все-таки не глядя на жену и не сказав ей ни слова.

Сделавшись безобразною, потеряв любовь мужа и утратив богатство, несчастная Федулова предалась сильной горести. Отказываясь добровольно то от того, то от другого, она кончила произвольные эпитимии[24] свои тем, что в один день, когда уже он склонялся к вечеру, пошла одна пешком к матери и, упав к ногам ее, едва не выплакала душу свою от раскаяния. Так-то тяжелая рука несчастья приводит людей к их обязанностям: Федулова, богатая, счастливая, не хотела знать матери, стыдилась принять ее к себе; Федулова, обезображенная, обедневшая, невзмилившаяся мужу, пришла обнять колена оскорбленной матери и ее прощением примириться с небом.

В таком положении дел и обстоятельств действующих лиц проходит и близится к концу четвертый год, считая со дня гулянья. Граф достиг совершеннолетия давно уже; давно вступил во владение имением отцовским, графиня поручила ему и свое, которое гораздо больше, и отдала в его волю все доходы с него. Граф всегда покоен, весел, доволен, начинает полнеть. Графиня всегда почти грустна, редко подходит к зеркалу, редко выезжает, проводит много времени в образной и никогда уже не напоминает сыну о женитьбе, но иногда задумчиво бродит по пышным залам вновь отделанной половины для предполагаемой некогда его свадьбы, печально останавливается против огромных зеркал, печально качает головою, говоря: «Неужели дорогие стекла эти никогда не отразят в себе лица юного и прекрасного, молодой графини Тревильской! Неужели всегда только одно мое с каждым днем более стареющее лицо будет представляться глазам моим!» И облако слез покрывало глаза эти и тмило образ графини в зеркале.

Княжна Орделинская, к печали своей баб-

ки, радости матери и удивлению отца, пошла в монастырь. Многие нашли, что она благую часть избрала.

Федулов из миллионера сделался бедным купцом, но, как был, остался честным и добросовестным человеком. С женой обращение его было все то же, он не говорил с нею иначе, как отвечая коротко и холодно на ее вопросы; но ласки никогда и никакой.

Степанида продолжает видеться с ключницей, совещаться с нею и по уходе ее плакать и молиться. Домашний быт ее тоже изменился; она не отдает более внаймы углов своего дома и главный из них, в котором угощала свою милую Фетинью, убрала как могла лучше, сделала из него род будуара, употребляя на украшение тот атлас, который назначала было для своей последней постели, но теперь она обила им диван, кресла и сделала занавеси к окну, не заботясь, что ни к чему нельзя будет притронуться не исцарапавшись. Но лучшим украшением и главной прелестью этого угла был, по мнению старой Степаниды, портрет Фетиньи, снятый с нее тогда еще, как она была ребенком и жила с матерью в этом

самом угле; портрет этот, хотя очень незавидной работы, был, однако ж, чрезвычайно сходен, и редкая красота маленькой девочки передана холсту верно.

В один из лучших апрельских дней графиня сидела в диванной будущей невестки своей, то есть она была на половине графа, в комнатах, назначенных супруге его. Прекраснейшей работы ковер устилал пол во всю длину и ширину его; ничто не могло быть прелестнее цветов, разбросанных по белой земле; казалось, что все эти розы, гвоздики, георгины, леандры, тюльпаны, всех цветов маки лежат на снегу. Графиня долго рассматривала неподражаемую живость цветов. В это время вошел граф.

— Посмотри, милый Жорж, как все это прекрасно! — графиня вздохнула. — Знаешь ли, что я думала, покупая ковер этот? Когда купец разостлал его передо мною, то первая мысль моя была: как радостно маленькие творения будут хватать эти цветы своими крошечными ручонками! И вот вместо того я одна — старуха — смотрю на эти восхитительные цветы и прохожу по ним медленно,

с чувством горести, с думою тяжелою!.. Ах, Жорж, Жорж!

— Милая маменька! — граф стал на одно колено и целовал руки матери с видом человека, вдруг на что-то решившегося. — Милая маменька! Что ж мешает осуществить любимую мечту вашу? Для чего думаете вы, что семейные радости не будут вашим уделом?

Графиня с удивлением и радостью смотрела на сына:

— Так ты согласен? Пусть бог даст тебе счастье на всю жизнь, милый сын! Дни мои опять просветлеют! Правда, что союз с Орделинскими, сильнейшее желание сердца моего, сделался теперь невозможен; но в государстве много девиц знатного происхождения, которые за счастье почтут иметь мужем прекрасного графа Тревильского. Как я рада, мой бесценный Жорж... Этот день я буду праздновать в продолжение всей моей жизни... Но встань же, друг мой! Полно целовать мои руки! Как!.. Ты плачешь?

У графа в самом деле навернулись слезы; восторг его матери был для него ударом кинжала в сердце.

— Я надеюсь, маменька, — сказал он тихо, — что вы позволите мне жениться по склонности моего сердца и что знатное происхождение не будет тут необходимым условием.

— Боже, защити нас! Неужели опять какая мещанка! Что с тобою делается, граф? Ну, пусть уже Федулова, хоть красотою необыкновенною оправдывала твою неуместную привязанность, но феномен этот давно сошел со сцены, давно затмился, нет его. Кто ж теперь? Кажется, нет никого, кто б славился так, как она!

— Я не переставал любить ее! Она необходима для моего счастья! Неужели, любезная матушка, я дорог вам не сам по себе, а только потому, что могу передать потомству имя ваше с удвоенным блеском через супружество с знатною девицею? Если вы любите меня собственно для меня, так что вам до того, с кем я счастлив, лишь бы только был счастлив... Дети мои тем не менее будут графы Тревильские.

— Я не так думаю, граф, особенно о союзе с Федуловыми; с ними более, нежели с кем дру-

гим, я не согласна породниться. Знаешь ли ты, кто такие мать и бабка Фетиньи?

— Знаю.

— Вряд ли! Тогда б ты не решился просить моего согласия на союз твой с этою семьею... Кто ж они, если знаешь?

— Бабка Фетиньи — отпущенница князя Мазовецкого.

— Как! Ты в самом деле знаешь это?.. Знаешь! И хочешь быть также ее внуком!

Гнев совершенно овладел графинею. Она встала, высвободила свою руку из рук сына:

— Знал ли ты также, граф, что мать Фетиньи незаконнорожденная и что Фетинья тебе двоюродная сестра? Не отвечай! Вижу, что знал! Теперь выслушай же меня: ты совершеннолетний полновластный господин своей воли и своего имени, можешь жениться, на ком рассудишь, даже и на Фетинье, но ни согласия на этот брак, ни благословения ему ты не получишь от меня даже и тогда, когда я буду уже на смертной постели. К престолу всевышнего предстану я оскорбленною матерью.

Графиня ушла в свои комнаты и выслала

горничную сказать графу, чтоб он не приходил к ней, пока она не пришлет за ним.

Дня через три мать и сын были опять вместе; то есть вместе обедали, пили чай, прогуливались в саду; если графиня выезжала в церковь, граф провожал ее; по наружности обращение их ни в чем не изменилось, но только граф был задумчив и бледен, а графиня нежнее и чаще прежнего ласкала его, но уже не ходила более в комнаты молодой графини — так в целом доме звали вновь отделанную половину.

Здоровье графини теперь начало видимо расстраиваться. В день пострижения княжны Орделинской с нею сделался первый нервический припадок, от того времени она страдала ими постоянно, хотя и не так часто, чтоб слишком тревожиться; но непредвиденное объяснение с сыном, угасившее последнюю искру надежды, до сего все еще тлевшую в душе графини, что ее Жорж будет иметь супругу, достойную продлить род Тревильских, это объяснение поразило жизненную силу ее в самом сердце; графиня с каждым днем делалась слабее; граф был в отчаянии. Иногда гра-

финя, положа голову на грудь сына, обнимала его обеими руками, говоря: «Ты ребенок, милый Жорж! Ну, отчего так грустить? Я похвораю и выздоровею; а если б и умерла, так ведь ты в этом не виноват; ты не хотел жениться так, как я требовала, правда, и это не хорошо! Но ты не женился и так, как сам хотел, несмотря, что закон давал тебе это право; успокойся же, сын мой! Все еще может поправиться, много времени впереди не только для тебя, но даже и для меня: я могу еще много дожждаться; мне только пятьдесят лет».

Врожденное легкомыслие графини было ей великим пособием; она стала как будто укрепляться в силах; объяснение с сыном, столько ее огорчившее, казалось ей уже нестоящим, чтоб его принимать так близко к сердцу; и она точно, как говорила, начала ожидать многого. Так продолжалось недели три; вдруг пронесся слух, что графиня Тревильская умирает, что она исполнила уже все, требуемое религией перед вечным успокоением, и что часы жизни ее сочтены. К этому слуху присоединился другой, совсем уже неправдоподобный, что граф Тревильский

едет за границу. Знакомые графини встревожились, бросились к ней толпою, кто из участия, кто из любопытства, и точно, оба слуха справедливы: графиня при смерти, граф едет за границу.

Когда графиня, думая и передумывая, как принять слова графа, какой смысл дать им, решила наконец, что все им сказанное, может быть, не так было чувствовано, что время возьмет свое, что года через четыре еще он забудет Фетинью и все-таки будет в самой поре жениться (графу тогда было б ровно тридцать лет), то эта беседа и совещание самой с собой сделали то, что она снова начала ходить к сыну в комнаты молодой графини, любоваться белым ковром и мечтать о внучках, которые будут на нем играть и хватать его цветы крошечными ручонками.

В один день вздумалось графине ехать прогуляться; она приказала заложить карету и сказать графу, что просит его ехать вместе. Граф пришел уведомить, что будет готов через четверть часа, что ему надобно кончить письма, не терпящие отлагательства. Когда карета, письма и граф были готовы, графиня

передумала:

— Останься, милый Жорж, я поеду одна.

Граф ушел, а графиня пошла было садиться в карету, но еще раз передумала:

— Велите отложить. Не понимаю, — говорила она своей компаньонке, — отчего мне сегодня так не по себе! Какое-то беспокойство овладело мною, то хотела б я уехать, сама не знаю куда, то опять не хочется с места тронуться.

— У вас кровь в волнении, графиня; выпейте воды с сахаром, я прикажу подать. Да если вам не угодно ехать, так позвольте мне, я имею надобность быть в магазине мадам Корбелль.

Компаньонка поехала. Графине подали воды с сахаром, и она, взяв стакан, пошла с ним ходить по горницам. Переходя машинально, без всякой цели из одной комнаты в другую, она прошла их все и вышла в коридор, ведущий в графскую половину; прошла и его точно так же, как проходила свои комнаты, без мыслей, без цели, без сознания даже, вошла в прихожую, прошла переднюю и, идя все прямо перед собою, перешла залу, гостиную, ка-

минную и наконец очутилась в любимой диванной, где был прекрасный белый ковер.

Графиня остановилась в изумлении, в ужасе, трепетала, как лист, не верила глазам, мысленно призывала всех святых на помощь, умоляя, чтоб это была мечта. При виде графини, бледной, помертвевшей, сложившей руки с выражением скорби и отчаяния, можно было б подумать, что глазам ее представилась грозная смерть собственной особою. Однако ж это было совсем напротив. Это было прелестное годовое дитя, истинное изображение Амура и Фетиньи Федотовны Федуловой... Дитя играло на ковре, ползая проворно от одного цветка к другому, хватая их маленькими ручонками. Увидя вошедшую графиню, дитя радостно всплеснуло ручками и, залепетав: «Бабуця, бабуця!» — поползло к ней как могло скорее; на половине своей дороги дитя остановилось, видно рассмотрев, что это не та «бабуця», которую оно привыкло видеть. Остановилось, оперлось ручками на ковер, подняло головку и, смотря пристально на графиню, повторило еще раз свое: «Бабуця?» Но уже это было не восклицание радостное, а во-

прос, сделанный голосом, готовым к плачу.

В это ж самое время из другой горницы слышался мелодический голос — графиня не могла не узнать его, и он при всей приятности ужасал ее, как рев тигра.

— Маша! Прибери обломки фарфора. Зачем ставить так, что дети могут доставать! Где Верочка?

— В диванной, ваше сиятельство! Играет на ковре.

— Диванная заперта?

— Нет-с.

— Боже мой, какая неосторожность! — отозвался граф. — Поди сейчас запри.

— Не тревожься, милый Жорж, ведь маменька уехала.

— Правда; но все-таки, милая Фанничка, смотри сама за этим, чтоб дверь диванной всегда была заперта, когда дети там играют... Боже мой! Что такое...

Вопль Маши заставил графа и Фанничку бежать опрометью в диванную.

Когда граф Тревильский после бала уехал в семь часов утра на дачу Сербицкого, тогда на-

мерение его жениться на Фетинье было уже твердо принято. Он не обманывал матери, когда писал, что поедет с Сербицким к баронессе Лохвицкой на ее трехдневное празднество. Он точно туда поехал, но туда же приехала после него и Фанничка с матерью и Машей. Верстах в тридцати от имения Лохвицких было село, куда съезжались для поклонения мощам; не было ничего удивительного, что благочестивая купчиха приехала помолиться и отслужить молебен; на этот раз она имела благоразумие не выказывать всей своей пышности; никто не удивился приезду особ в наемных каретах, так же как и венчанью двух молодых людей и позднему времени, для этого выбранному. Все это было там очень обыкновенно. Впрочем, для предосторожности церковь была заперта и лицо невесты закрыто флером. Свидетелями были: Сербицкий и графский камердинер, которого тут же обвенчали с Машей. Супруги разлучились тотчас по выходе из церкви. Граф прижал к сердцу милую жену и, поцеловав несколько раз прелестные черные очи ее и розовые уста, посадил в карету. Он поцеловал также руку Феду-

ловой, говоря: «Поручаю вам, матушка, мою милую графиню до того дня, как я приеду за нею; храните мое сокровище».

«И я, Машенька, расстаюсь с тобою до того же срока, впрочем, для нас он может и сократиться», — говорил новобрачный камердинер, усаживая свою смуглянку на переднюю лавочку кареты.

Наконец обе кареты покатались, каждая в свою сторону.

Федулова задыхалась от силы двух противоположных ощущений: от восторга видеть себя тещею графа и от страха, что сделает Федулов, когда узнает о ее новом достоинстве. Первое, однако ж, брало верх; она беспрестанно заботилась о дочери, чтоб только иметь предлог называть ее: «Не поднять ли стекло, милая графиня? Ветер холодно веет. Закрывайся, пожалуйста, графиня, как ты неосторожна! Теперь воздух влажен еще! Смотри, графиня, не введи меня в хлопоты, ведь граф, муж твой, отдал мне тебя с условием: я должна возвратить ему жену его такую, как взяла, здоровую; так берегись же, милая графиня, не раскрывайся так».

Маша, тоже в этом случае нисколько не умнее своей хозяйки, не помнила себя от радости, что она теперь жена молодого, прекрасно одетого камердинера графского и что служит не купеческой уже дочери, Фетинье Федотовне Федуловой, а ее сиятельству, молодой графине Фанничке Тревильской. «Странно, однако ж, — говорила сама себе Маша, — это имя: Фанничка. Что-то неловко, кажется, называть так, разве у знатных это ничего: по-нашему, так почти то же, что сказать: графиня Соничка, Лизочка! Ужасно было б смешно и некстати!»

Но это размышление пролетало молнией и не мешало придирааться ко всякому случаю назвать Фетинью ее сиятельством. «Ваше сиятельство почивать хотите? Не прикажете ль, ваше сиятельство, подать вам большой платок? Позвольте, ваше сиятельство; эта кисть беспокоит ваше сиятельство!» Две дуры не переставали во всю дорогу осыпать Фетинью названиями графини и вашего сиятельства, так что когда новобрачная заснула, то видела во сне, что ее маленькая собачка, тьявкая, выговаривала: «Ваше сиятельство!»

Юное сердце молодой графини хотя и было полно неизъяснимого счастья, однако ж к нему примешивалось тревожное чувство непокойной совести: отец, столько ее любящий, не знает о важнейшем шаге ее жизни! Правда, супружество ее совершилось по воле матери, под ее благословением, по ее непремennomу требованию. Дочь не смеет противиться приказанию матери. «Все правда! Но отец! Добрый отец мой! Ему тоже надобно бы знать об этом!»

Граф хотел непременно, чтоб его молодая графиня жила у него, именно в тех комнатах, которые для этого случая переделывались; но только не знал, как водворить ее там? Надобно сделать так, чтоб не было и вида тайны. Надобно, чтоб графиня-мать могла входить в эти комнаты, когда ей рассудится. В один день, когда граф, осматривая отделяваемые покои, более прежнего об этом задумался, к нему подошел работник, знавший в совершенстве слесарное и столярное ремесла.

— Не прикажете ль, ваше сиятельство, к двери вашего кабинета сделать замок со звоном?

— Как со звоном?

— Когда отпирают замок, то он издает звук, похожий на бой часов.

— Для чего ж это?

— Чтоб слышать, когда кто войдет.

— А, понимаю! Но не будет ли такое извещение поздним? Нельзя ли сделать так, чтоб звонок ударял в кабинете, когда отворится дверь в переднюю?

— Чего не можно, ваше сиятельство; но только об этом надобно подумать. Это не так легко сделать, как обыкновенный замок со звоном.

— Подумай; если выдумаешь, я дам тебе такую награду... Ну, тогда увидишь сам; только помни, что эта работа должна быть секретною.

— Разумеется, ваше сиятельство. Если будет известно место, где стоит караул, тогда могут и обойти его. Эту хитрость будут знать только двое: я да ваше сиятельство.

Мастеровой, заключавший в себе слесаря и столяра, ухищрялся и умудрялся недели две и наконец выдумал пружину вроде длинной

клавиши, которая от дверей прихожей тянулась под полом до самого графского кабинета и была устроена так, что вместе с тем, как отворялась дверь передней, она ударяла в колокольчик, приделанный тоже под полом в графском кабинете, и издавала звук глухой, но довольно внятный, чтоб быть слышным в диванной и гостиной. Комнаты молодой графини были необитаемы; итак, вход в них через парадную лестницу был заперт и можно было пройти в них через коридор; дорога, которою ходила одна только графиня-мать, и, следовательно, дверь с тайною пружиною никем другим не могла быть отворяема, и если колокольчик подпольный звенел, это возвещало приход графини. Итак, граф достиг цели своих желаний. Он наградил мастерового за его бесценную услугу, как сказано выше; и как некоторые из его комнат не были переделываемы, то он и решился поселить в них свою молодую жену.

Надобно было видеть, как испугалась сумасбродная женщина — графская теща, когда граф сказал ей, что возьмет жену к себе. По-бледнев как полотно, она беспрестанно по-

вторяла:

— Что я скажу ему! Что скажу, боже мой всемогущий! Что я скажу ему!..

— Скажите правду, матушка! Имейте твердость сказать ему правду, — говорил граф, — попросите хранить нашу тайну до того, пока я успею склонить графиню утвердить брак мой.

— Ах, боже мой! Что вы это говорите, — кричала с визгливым плачем Федулова, — сказать правду Федулову!.. Куда я денусь тогда?.. Ну, скажете ль вы правду вашей матушке? Уж, верно, нет!

— Но ведь надобно же кончить тем, чтоб взять к себе жену; милая матушка, перестаньте горевать.

— Нет, нет, граф! Ваш совет не годится; сказать мужу я не смею; а вы подождите дней пять, я завтра поеду на всю неделю за город, одна моя приятельница родила, так я поеду к ней, это будет предлогом оставить вашу графиню дома; вы без меня и увезите ее, да и живите с нею в любви и согласии под моим материнским благословением. А с мужем я уж как-нибудь помирюсь: ведь я не могу отве-

чать за то, что сделается без меня.

План Федуловой был выполнен в точности, но только дальновидного Федулова им не обманули: он понял все; но зло сделано, исправить нельзя, осталось взять меры, чтоб не распространился слух об нем. Когда жена его возвратилась и вошла к нему с неприятворно испуганным видом (конечно, имея предчувствие, что муж отгадает истину), Федулов сказал ей мрачно и не глядя на нее:

— Фетиньи нет! Она ушла! Не хочу знать, где она и для чего ушла, но приказываю тебе говорить везде и всем, что я отправил ее в Иркутск к дяде: дома так думают. Если ж я узнаю, что она замужем, как ты когда-то намекала, уничтожу брак ее, по крайности, буду об этом просить; а тебя выгоню из дому как жену бессовестную и мать бездушную. Теперь же буду терпеть твое присутствие в доме моем для того, чтоб не сделать огласки.

Высказав свою волю и намерение, Федулов от этого дня жил с женою, как будто ее не было у него в доме: не говорил с нею, не смотрел на нее, и когда люди на какой-нибудь вопрос его отвечали: «хозяйка приказала, хозяйка

послала, хозяйка сама хотела сделать» — он тотчас переставал говорить и уходил.

Несмотря на наружную холодность, Федулов жестоко был опечален поступком дочери; он знал Тревильскую, ее образ мыслей, упрямство, презрение к простолюдинам; знал, что скорее согласится она видеть сына мертвым, нежели женатым на мещанке; все это знал он, был уверен, и честная душа его страдала невыразимо при мысли, что его дочь насильно вошла в фамилию, ее презирающую.

Дни, недели и месяцы проходили своей чередой; молодые супруги были бы счастливее самого счастья, если б их любовь, ласки, восторги не были тревожимы боязнью и упреками совести; особливо эти последние часто наводили облако грусти на прекрасные лица супругов-любовников; без этого обстоятельства опасение и всегдашняя осторожность еще более возвышали бы цену их взаимного благополучия. В безмолвном и пышном приюте своем они жили как будто отделенные от этого мира, исполненного бурь, сует, козней, вражды и бед! С каким восторгом молодой

граф прижимал к сердцу свою милую Фанничку, когда она, выдержав двухчасовой карантин в гардеробной, опять приходила к нему. Гардеробная была ее убежищем: при звуке благодетельного подпольного звонка юная графиня как зефир улетала в коридор, оттуда в гардеробную, где и оставалась все то время, пока графиня-мать сидела в ее комнатах.

В конце года молодая Тревильская сделалась беременна; это оживило было надежду графа убедить мать свою признать его Фанничку невесткою, но скоро, однако ж, надежда эта угасла. Графиня, как-то разговаривая с сыном о женитьбе одного их знакомого против воли матери и о том, что она простила, когда сын упал к ногам ее и представил ей дитя свое, сказала: «На меня это не подействовало бы; презрение воли материнской тем не менее презрение, хотя и имеет такие приятные последствия для виновных! Я не простила бы, Жорж, уверяю тебя».

Фетинья узнала наконец, что Степанида — ее родная бабка; узнала также и то, что она отпущенница; но тем с не меньшею нежно-

стью обняла старуху, плачущую от радости и горя вместе. Степанида ходила очень часто к своей внучке: никому не казалось странным, что к жене графского камердинера ходит какая-то опрятно одетая старушка. Ее провожали прямо в кабинет графа, который служил супругам спальнею и столового, когда графиня-мать не обедала дома и позволяла сыну по каким-нибудь причинам оставаться дома.

При наступающих родах Степанида просила внучку переехать к ней месяца на два.

— У меня ты будешь покойна и безопасна, милое дитя мое (она никогда не звала ее графинею), а здесь этот звонок когда-нибудь перепугает тебя насмерть; не может ли он зазвенеть в такое время, когда глубочайшая тишина будет тебе необходимее всего?.. Переезжай ко мне, мой милый друг? Когда все кончится и ты оправивишься, опять возвратишься сюда.

Само благоразумие говорило устами старой Степаниды; супруги признали необходимость последовать ее совету, и за две недели до родов молодая графиня переехала к своей бабке.

Старуха была в истинном упоении, видя

свою милую Фетинью, свою красавицу писаную обитательницей ее дома; она поставила для нее кровать в пышно убранном углу. Заколотила наглухо главную дверь, которая вела из коридора в эту комнату, и всякого, кто придет к ней, принимала в маленькой отдаленной горнице, говоря, что она отдала весь дом внаем.

Молодая графиня много смеялась употреблению, какое было сделано из атласа.

— Ведь это не водится, милая бабушка! Кресла и диваны не обивают материей, вышитой золотом и блестками; это очень неудобно; шитье будет рвать платье.

— Э, дитя мое! кто будет сидеть на них? Кому я позволю? Пусть будет так, оставь мне, старухе, это утешение; посмотри, как красиво! Глаз не хочется отвести!.. Ну, а если тебе неловко сидеть на них, потому что цепляются за платье, я закрою их чехлами плотными, вот и все будет хорошо.

Степанида застановила окна транспарантами, прекрасно расписанными; на двух столиках поставила две вазы с цветами. Она беспрестанно что-нибудь поправляла, охораши-

вала, ходила на цыпочках и спрашивала шепотом:

— Покойно ли тебе, дитя мое? Все ли по мысли? Не надобно ли чего? Говори, мое сокровище ненаглядное, старая бабка твоя все тебе достанет.

Фетинья с нежностью обнимала ее, а граф, скрывая невольную усмешку, говорил:

— Как вы добры, милая наша бабушка! Вы столько делаете для моей милой Фаннички, что, кажется, ей уже нечего более и желать.

Старуха бормотала про себя: «Фанничка! Фанничка! Охота преиначивать христианское имя на бог знает какое!»

Так прошло время до родин. Молодая супруга разрешилась дочерью, столь же милою, как сама. Граф с восторгом заметил, что дитя походит на свою бабуку-графиню. «Наша дочь будет залогом нашего примирения с маменькою, милая Фанни! Увидя себя вновь расцветшею в этом прелестном ребенке, она смягчится и простит». В этой надежде они дали новорожденной имя графини: Людмила. Но прежде Фетинья выпросила согласие на это своей бабки.

— Хорошо, хорошо, милочка! Делай, как тебе лучше. Хоть гордая твоя свекровь и не стоит, чтоб такой херувимчик назывался ее именем, да уж быть так! К тому ж ведь она графиня, моя крошка, а графинь Степанидами не называют, это имя крестьянское. Пусть уж она будет Людила.

— Людмила! Милая бабушка!

— Ну Людмила, что ли, все равно.

Фетинья сама кормила дочь свою. Степанида советовала жить у нее, пока дитя отбудет кой-какие болезни, свойственные первым неделям жизни их. Граф, уступая справедливости замечания ее, что трудно будет скрываться всякий раз с ребенком, который может иногда сильно расплакаться, согласился, чтоб его молодая графиня осталась на полгода в своем родном приюте. В продолжение этого времени граф делал несколько покушений уничтожить предрассудок матери и истребить ее предубеждение против простого народа, но тщетно.

— Ведь они люди, такие ж, как и мы, милая маменька, имеют одинаковые с нами чувства, имеют добродетели, ум, красоту, дары

нашего создателя принадлежат им, равно как и нам; пред лицом бога мы все равны!

— Неоспоримая истина, любезный граф, и я буду твоего мнения, когда предстанем все перед лицом божие, но пока мы еще здесь, на земле, так я предлагаю тебе верное средство узнать, равны ли мы с ними: поезжай к князю Голирудскому, самому снисходительному из вельмож, поезжай к нему вместе с твоим Егором. Он ведь очень неглуп и хорош собой, дары создателя видны на нем. Прием князем его перескажи мне.

Насмешка графини жестоко оскорбила графа.

Через полгода молодая графиня переехала опять к мужу. Ее Людмилочка была очень тиха и имела редкое качество в детях — никогда ни от чего не плакать, разве сильно уже болело что-нибудь у нее, тогда она только пищала тихонько, и то изредка. С таким ребенком легко было укрыться от графини, да сверх этого она совсем перестала ходить далее диванной, и это до того осмелило затворницу-графиню, что она часто сидела в угловой комнате с маленькою Людмилою, когда старая гра-

финя разговаривала с сыном в диванной.

Через год Фетинья родила еще дочь, и опять ни она, ни Георг не смели назвать дитя именем ее прабабки. «Что нам делать, моя Фанничка! Бабушка твоя, может быть, осердится, но ведь это имя: „Степанида!“ будет одним препятствием больше к получению согласия маменьки; назовем ее Верою».

Добродушная Степанида, нимало не обижаясь, что и другая правнучка не будет носить ее имени, с нежностью целовала глаза молодой графини, когда та с замешательством, краснея и прижимаясь к груди старушки, говорила:

— Бабинька! Жорж хочет назвать дочь нашу Верою; говорит, что имя это имеет великое значение и всегда приносит счастье тому, кто им называется.

— Ох ты моя черноокая лепетунья! Чего ж ты так краснеешь, и жмешься, и ластишься!.. Дитя ты мое бесценное! Неужели думаешь, что бабка твоя на краю могилы будет столько глупа, чтоб досадовать, для чего не назвали ее крестьянским именем графскую дочь? Успокойся, моя милочка! Назовите ребенка, как

вам кажется лучше; я все равно буду любить его.

— Сочтите, граф, что я ничего не видала! — говорила графиня, уходя и высвобождая легонько платье свое из рук сына, влекшегося за нею на коленях и тщетно умоляющего остановиться.

— Матушка!.. матушка! — говорил он голо- сом отчаяния. — Троньтесь плачем детей моих! Взгляните на них, они ваша кровь! Простите нас! Неужели вам так трудно подарить счастьем сына вашего!

В продолжение этой сцены юная графиня, бледная, с полными слез глазами, стояла тоже на коленях, на этом самом ковре, где за минуту до того играла дочь ее. Обе девочки, прижавшись одна к другой, плакали несмело и смотрели с испугом на свою неумолимую бабушку. Маша стояла на пороге в том самом положении, в котором остановилась, когда вид графини Тревильской-матери, заставив ее закричать от ужаса, приковал на месте.

— Сочтите, что я ничего не видала, граф; успокойтесь! Оставьте мое платье, что с ва-

ми! Отчего вы так встревожились! Повторяю вам, что я ничего не видала, ничего не знаю!

Граф оставил наконец неумолимую мать. Она ушла; Жорж поднял свою Фанни.

— Полно, милая жена, не плачь. Конечно, гнев матери моей большое несчастье для меня, но он ничего не может сделать тебе; брак наш утвержден законами. Предоставим все воле божией! Возьми детей, Фанни! Полно же, полно, перестань! Может быть, еще матушка и умилоствится; дадим время утихнуть ее гневу.

Утешая жену и обнадеживая прощением матери своей, граф ни минуты не сомневался, что не получит его: брань, гнев, упреки были б ему порукою, что через несколько дней они заменятся ласками и милосердием. Но холодные, равнодушно сказанные слова: «Сочтите, граф, что я ничего не видала», — пронзили ужасом и горестью сердце графа. Он был уверен, что других не услышит.

Давняя болезнь графини развилась с ужасною быстротою и в несколько дней поставила ее на краю могилы; но дня четыре графиня была довольно бодра, то есть держалась на

ногах; выходила в гостиную, в столовую, обедала, пила чай вместе с сыном. Однако ж видно было, что жизнь потухает в глазах ее и лицо постепенно начинало покрываться бледностью смерти. Несчастный граф с воплем отчаяния бросался к ногам матери, обнимал их и обливал горькими слезами: что уже оставалось говорить ему? Мать его быстро сходила в могилу! На пятый день графиня слегла в постель, в шестой поутру исполнила долг христианский и, видя сына, в немой горести распростершегося у ног ее, положила руку на его голову:

— Милый Жорж, сын мой! Успокойся! Я благословляю тебя!.. — Помолчав с минуту, она проговорила вполголоса: — Не плачь же, не плачь! Прости! Живи счастливо! Я ничего не видала!

Это были последние слова ее, она более не говорила и в десять часов вечера умерла.

День первого мая так же был ясен и тепел теперь, как четыре года тому назад; так же тьма карет катится к месту гулянья; толпы пешеходов теснятся на тротуарах, площади, идут густою массою, шумят, смеются, толку-

ют, хвалят или осмеивают экипажи и сидящих в них. Вот и кареты Федуловой и Тревильской едут по этой же улице, но только они едут по другой стороне и, по-видимому, совсем не для гулянья: впереди их тянется погребальная процессия и везут два гроба. Один блистательный, с короною и гербами; другой простой, черный, с недорогими серебряными украшениями. В обеих каретах занавески окошек опущены. Внимание толпы было обращено на богатый гроб, пока его провозили мимо.

— Не знаете ли, чьи это похороны?

— Раззолоченный гроб графини Тревильской; а простой, черный, купца Федулова.

— Не того ли, что был очень богат и так скоро обеднел?

— Того самого.

— Видно, с горя.

— Видно, что так.

Процессия повернула за угол, скрылась из виду, и толпа, провожавшая глазами блистательный кортеж богатого гроба, забыла о нем в ту же секунду и навсегда.

На другой день похорон граф оставил свое отечество с тем, чтоб никогда в него не воз-

вращаться. Он не хотел присутствовать при открытии завещания его матери и просил Сербицкого заступить его место при этом случае.

Завещанием графини имение ее в случае женитьбы графа на девице низкого происхождения возвращалось в фамилию князей Мазовецких. По числу видно было, что графиня сделала это завещание вскоре после того объяснения с сыном, которым он дал знать ей, что не женится ни на ком, кроме дочери Федулова.

Через год граф писал к Сербицкому, прося его продать часть имения, ему принадлежавшую, и деньги прислать туда, где он решил основать свое пребывание навсегда. Об этом поговорили с неделю и забыли.

Степанида, проводя внучку, доживала дни свои схимницей; молилась богу, делала много добра. По целым часам сидела в раздумье перед портретом Фетиньи, иногда плакала, но всегда уже оканчивала мысленную беседу свою с этим портретом словами: «Пусть бог благословит тебя, мое сокровище бесценное! Будь счастлива и здорова, где б ты ни была!»

В конце сотого года жизни своей Степанида умерла; свое имущество, деньги и дом завещала церкви, которой была прихожанкою, прося употреблять все это для выгод храма, в котором так долго молилась. Взамен своего приношения предложила одно только возмездие для себя: чтоб богато убранный угол ее дома остался неприкосновенным, чтоб никто никогда не жил в нем; мебель его чтоб всегда оставалась на своих местах; чтоб портрет на стене, над диваном, всегда там и оставался и был закрыт шелковым занавесом и, наконец, чтоб пред иконою богоматери всегда горела, не угасая день и ночь, лампада с самым лучшим маслом. И все это чтоб продолжалось до конечного разрушения дома, который никому и никогда не продавать.

Завещание Степаниды исполнялось в точности многие годы, и парадный угол маленького домика привлекал много любопытных. Дряхлая Акулина прихаживала иногда и рассказывала посетителям историю угла, убранства и портрета со всеми возможными прибавлениями.

Федулова долго грустила, ездила плакать

на могилу мужа и наконец написала к дочери, что одиночество сведет ее с ума; что если графиня сама не может приехать к ней, то хоть бы прислала меньшую дочь, графиню Веру. Это повторение: графиня да графиня! — показало Фетинье, что мать ее все та же и что печаль ее о смерти мужа начинает проходить. Она решилась предложить ей переехать к ним. Бог знает уже, как уцелел последний ум Федуловой, когда она получила это приглашение. «За границу! — говорила она сама с собой, важно расхаживая по комнате. — За границу! В чужие края!.. В газетах будет напечатано, что я выехала за границу! Все знатные дамы ездят в чужие края!» Сумасбродная старуха, не раздумывая, поехала в чужую землю, а родине своей посвятила — вздох и гримасу; первым простилась с могилою своего мужа, а второю почтила угол, мимо которого необходимо надобно было проехать.

Примечания

1

Конноспортивные упражнения; курбет — подъем лошастью двух задних ног; лансад — крутой и высокий прыжок верховой лошади.

[^^^]

2

Послушайте, Жорж! (*фр.*).

[^^^]

Имеется в виду персонаж из трагедии Н. А. Полевого «Уголино».

[^^^]

4

Тысяча извинений, мой друг! (фр.).

[^^^]

5

Но, право, моя дорогая! (*фр.*).

[^^^]

6

Один из видов экипажа.

[^^^]

То есть материей, предназначенной для обивки.

[^^^]

8

Плач, хныканье (от *рюмить* — плакать, хныкать).

[^^^]

9

Божество Вавилонии, которому приносились жертвы, символ неутолимой жестокости.

[^^^]

Имеется в виду Великий Могол; так европейцы называли представителей династии, правившей в Индии с 1526 по 1707 год; символ могущества и богатства.

[^^^]

Старается, блюдет (от *пильновать* — стараться, блюсти).

[^^^]

Искажение слова «косметика».

[^^^]

прекрасная московская Диана. Величественная московская Диана! (*фр.*)

[^^^]

14

Могучий великан, сраженный юношей Давидом (Библия, 1 книга Царств, 17).

[^^^]

Медуза — чудовище в виде женщины, на голове которого вместо волос извивалась змеи; взор Медузы обращал в камень (греч. миф.).

[^^^]

Головной женский убор с драгоценными украшениями.

[^^^]

Женский головной убор.

[^^^]

Аmater — любитель, знаток.

[^^^]

Приглашение к мазурке *(пол.)*.

[^^^]

бабушка! (*φρ.*).

[^^^]

скользящим движением (ϕr).

[^^^]

Нespoхватчивая — ненаходчивая.

[^^^]

Здесь: круг приближенных; церковнослужители одного прихода.

[^^^]

Эпитимия — церковное наказание.

[^^^]